



ИВАН
БУНИН

Митина любовь

*Почему-то ни разу за все время их любви
не касались они вопроса о будущем,
о том, чем их любовь кончится.*



Эмпатия – это способность чувствовать то же самое, что чувствуют другие, способность сопереживать, разделять чужие радость и горе.

Бернар Вербер.

*Новая энциклопедия относительного
и абсолютного знания*

Митина любовь / И. А. Бунин. //РИПОЛ классик, Москва, 2011

ISBN: 978-5-386-03728-4

FB2: Олег Власов "prussol", 14.03.2014, version 1.0

UUID: cbd9da8b-ab3f-11e3-a340-0025905a0812

PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Иван Алексеевич Бунин

Митина любовь (Сборник)

Иван Алексеевич Бунин (1870–1953) – замечательный русский писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1933 год. Произведения, вошедшие в сборник «Митина любовь», объединяет тема любви, столь значимая для автора. В них он словно пытается разгадать секрет женского очарования и тайну любовной страсти, толкающей мужчину на роковые поступки.

Содержание

Митина любовь	0007
I	0007
II	0011
III	0017
IV	0021
V	0022
VI	0028
VII	0031
VIII	0035
IX	0038
X	0042
XI	0047
XII	0050
XIII	0051
XIV	0055
XV	0063
XVI	0068
XVII	0073
XVIII	0075
XIX	0079
XX	0084
XXI	0091
XXII	0094
XXIII	0096
XXIV	0099

XXV	0103
XXVI	0105
XXVII	0108
XXVIII	0113
XXIX	0119
Осенью	0122
I	0122
II	0124
III	0126
IV	0129
V	0131
Маленький роман	0133
I	0133
II	0141
III	0147
Последнее свидание	0151
I	0151
II	0154
III	0157
IV	0162
Грамматика любви	0166
Легкое дыхание	0184
Неизвестный друг	0195
Солнечный удар	0212
Ида	0227
Дело корнета Елагина	0244
I	0244
II	0250

III	0253
IV	0259
V	0263
VI	0266
VII	0270
VIII	0275
IX	0281
X	0287
XI	0297
XII	0304
XIII	0309
XIV	0315
Три рубля	0318

Бунин, И. А
Митина любовь. Сборник

Митина любовь

I

В Москве последний счастливый день Мити был девятого марта. Так, по крайней мере, казалось ему.

Они с Катей шли в двенадцатом часу утра вверх по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила весне, на солнце было почти жарко. Как будто правда прилетели жаворонки и принесли с собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, с домов капали капли, дворники скалывали лед с тротуаров, сбрасывали липкий снег с крыш, всюду было многолюдно, оживленно. Высокие облака расходились тонким белым дымом, сливаясь с влажно-синеющим небом. Вдали с благостной задумчивостью высился Пушкин, сиял Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, в этот день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечием и близостью, часто с детской доверчивостью брала Митю под руку и снизу заглядывала в лицо ему, счастли-

вому даже как будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему так широко, что она едва поспевала за ним.

Возле Пушкина она неожиданно сказала:

– Как ты смешно, с какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой рот, когда смеешься. Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вот еще за твои византийские глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство и легкую обиду, Митя дружелюбно ответил, глядя на памятник, теперь уже высоко поднявшийся перед ними:

– Что до мальчишества, то в этом отношении мы, кажется, недалеко ушли друг от друга. А на византийца я похож так же, как ты на китайскую императрицу. Вы все просто помещались на этих Византиях, Возрождениях... Не понимаю я твоей матери!

– Что ж, ты бы на ее месте меня в терем запер? – спросила Катя.

– Не в терем, а просто на порог не пускал бы всю эту якобы артистическую богему, всех этих будущих знаменитостей из студий и консерваторий, из театральных школ, – отве-

тил Митя, продолжая стараться быть спокойным и дружелюбно небрежным. – Ты же сама мне говорила, что Буковецкий уже звал тебя ужинать в Стрельну, а Егоров предлагал лепить голую, в виде какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

– Я все равно даже ради тебя не откажусь от искусства, – сказала Катя. – Может быть, я и гадкая, как ты часто говоришь, – сказала она, хотя Митя никогда не говорил ей этого, – может, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будем ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, в такой чудный день! Как ты не понимаешь, что ты для меня все-таки лучше всех, единственный? – негромко и настойчиво спросила она, уже сделанной обольстительностью заглядывая ему в глаза, и задумчиво, медлительно продекларировала:

*Меж нами дремлющая тайна,
Душа душе дала кольцо...*

Это последнее, эти стихи уже совсем больно задели Митю. Вообще, многое даже и в

этот день было неприятно и больно. Неприятна была шутка насчет мальчишеской неловкости: подобные шутки он слышал от Кати уже не в первый раз, и они были не случайны, – Катя нередко проявляла себя то в том, то в другом более взрослой, чем он, нередко (и невольно, то есть вполне естественно) выказывала свое превосходство над ним, и он с болью воспринимал это как признак ее какой-то тайной порочной опытности. Неприятно было «все-таки» («ты все-таки для меня лучше всех») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженным голосом, особенно же неприятны были стихи, их манерное чтение. Однако даже стихи и это чтение, то есть то самое, что больше всего напоминало Мите среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, он перенес сравнительно легко в этот счастливый день девятого марта, его последний счастливый день в Москве, как часто казалось ему потом.

В этот день, на возвратном пути с Кузнецкого моста, где Катя купила у Циммермана несколько вещей Скрыбина, она между про-

чим заговорила о его, Митиной, маме и сказала, смеясь:

– Ты не можешь себе представить, как я заранее боюсь ее!

Почему-то ни разу за все время их любви не касались они вопроса о будущем, о том, чем их любовь кончится. И вот вдруг Катя заговорила о его маме и заговорила так, точно само собой подразумевалось, что мама – ее будущая свекровь.

II

Потом все шло как будто по-прежнему. Митя провожал Катю в студию Художественного театра, на концерты, на литературные вечера или сидел у нее на Кисловке и засиживался до двух часов ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ее мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама с малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдельно от мужа, у которого была вторая семья). Забегала и Катя к Мите, в его студенческие номера на Молчановке, и свидания их, как и прежде, почти сплошь протекали в тяжком дурмане поцелуев. Но

Мите упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то изменилось, стало меняться в Кате.

Быстро пролетело то незабвенное легкое время, – когда они только что встретились, когда они, едва познакомившись, вдруг почувствовали, что им всего интереснее говорить (и хоть с утра до вечера) только друг с другом, когда Митя столь неожиданно оказался в том сказочном мире любви, которого он втайне ждал с детства, с отрочества. Этим временем был декабрь, – морозный, погожий, день за днем украшавший Москву густым инеем и мутно-красным шаром низкого солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь в вихре непрерывного счастья, уже как бы осуществленного или, по крайней мере, вот-вот готового осуществиться. Но уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нередко казалось, что как будто есть две Кати: одна та, которой с первой минуты своего знакомства с ней стал настойчиво желать, требовать Митя, а другая – подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая с первой. И все же ни-

чего подобного теперешнему не испытывал Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весенние женские заботы, покупки, заказы, бесконечные переделки то того, то другого, и Кате действительно приходилось часто бывать с матерью у портних; кроме того, у нее впереди был экзамен в той частной театральной школе, где училась она. Вполне естественной поэтому могла быть ее озабоченность, рассеянность. И так Митя поминутно и утешал себя. Но утешения не помогали – то, что говорило мнительное сердце вопреки им, было сильнее и подтверждалось все очевиднее: внутренняя невнимательность Кати к нему все росла, а вместе с тем росла и его мнительность, его ревность. Директор театральной школы кружил Кате голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Мите об этих похвалах. Директор сказал ей: «Ты гордость моей школы», – он всем своим ученикам говорил «ты» – и, помимо общих занятий, стал заниматься с ней потом еще и отдельно, чтобы блеснуть ею на экзаменах особенно. Было же известно, что он развращал учениц,

каждое лето увозил какую-нибудь с собой на Кавказ, в Финляндию, за границу. И Мите стало приходить в голову, что теперь директор имеет виды на Катю, которая, хотя и не виновата в этом, все-таки, вероятно, это чувствует, понимает и потому уже как бы находится с ним в мерзких, преступных отношениях. И мысль эта мучила тем более, что слишком очевидно было уменьшение внимания Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее от него. Он не мог спокойно думать о директоре. Но что директор! Казалось, что вообще над Катиной любовью стали преобладать какие-то другие интересы. К кому, к чему? Митя не знал, он ревновал Катю ко всем, ко всему, главное, к тому общему, им воображаемому, чем втайне от него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреодолимо тянет куда-то прочь от него и, может быть, к чему-то такому, о чем даже и помыслить страшно.

Раз Катя, полушутя, сказала ему в присутствии матери:

– Вы, Митя, вообще рассуждаете о женщинах по Домострою. И из вас выйдет совершен-

ный Отелло. Вот уж никогда бы не влюбилась в вас и не пошла за вас замуж!

Мать возразила:

– А я не представляю себе любви без ревности. Кто не ревнует, тот, по-моему, не любит.

– Нет, мама, – сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужие слова, – ревность это неуважение к тому, кого любишь. Значит, меня не любят, если мне не верят, – сказала она, нарочно не глядя на Митю.

– А по-моему, – возразила мать, – ревность и есть любовь. Я даже это где-то читала. Там это было очень хорошо доказано и даже с примерами из Библии, где сам Бог называется ревнителем и мстителем...

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецело выражалась только в ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, как ему казалось, особенная. Они с Катей еще не переступили последней черты близости, хотя позволяли себе в те часы, когда оставались одни, слишком многое. И теперь, в эти часы, Катя бывала еще страстнее, чем прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительным и возбуждало порою ужасное чувство. Все

чувства, из которых состояла его ревность, были ужасны, но среди них было одно, которое было ужаснее всех и которое Митя никак не умел, не мог определить и даже понять. Оно заключалось в том, что те проявления страсти, то самое, что было так блаженно и сладостно, выше и прекраснее всего в мире в применении к ним, Мите и Кате, становилось несказанно мерзко и даже казалось чем-то противоестественным, когда Митя думал о Кате и о другом мужчине. Тогда Катя возбуждала в нем острую ненависть. Все, что, глаз на глаз, делал с ней он сам, было полно для него райской прелести и целомудрия. Но как только он представлял себе на своем месте кого-нибудь другого, все мгновенно менялось, — все превращалось в нечто бесстыдное, возбуждающее жажду задушить Катю и, прежде всего, именно ее, а не воображаемого соперника.

III

В день экзамена Кати, который состоялся наконец (на шестой неделе поста), как будто особенно подтвердилась вся правота Митиных мучений.

Тут Катя уже совсем не видела, не замечала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имела большой успех. Она была во всем белом, как невеста, и волнение делало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директор, самодовольный актер с бесстрастными и печальными глазами, сидевший в первом ряду, только ради пущей гордости делал ей иногда замечания, говоря негромко, но как-то так, что было слышно на всю залу и звучало нестерпимо.

– Поменьше читки, – говорил он веско, спокойно и так властно, точно Катя была его полной собственностью. – Не играй, а переживай, – говорил он отдельно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтение, вызывавшее рукоплескания. Катя горела жарким румянцем, смущением, голосок ее иногда срывался, дыхания

не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она с той пошлой певучестью, фальшью и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения в той ненавистной для Мити среде, в которой уже всеми помыслами своими жила Катя: она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости мольбой, и Митя не знал, куда глаза девать от стыда за нее. Ужаснее же всего была та смесь ангельской чистоты и порочности, которая была в ней, в ее разгоревшемся личике, в ее белом платье, которое на эстраде казалось короче, так как все сидящие в зале глядели на Катю снизу, в ее белых туфельках и в обтянутых шелковыми белыми чулками ногах. «Девушка пела в церковном хоре», – с деланой, неумеренной наивностью читала Катя о какой-то будто бы ангельски невинной девушке. И Митя чувствовал и обостренную близость к Кате, – как всегда это чувствуешь в толпе к тому, кого любишь, – и злую враждебность, чувствовал и гордость ею, сознание, что ведь все-таки ему

принадлежит она, и вместе с тем разрывающую сердце боль: нет, уже не принадлежит!

После экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не верил им с той легкостью, как прежде. Катя, вспоминая экзамен, говорила:

– Какой ты глупый! Разве ты не чувствовал, что я и читала-то так хорошо только для тебя одного!

Но он не мог забыть, что чувствовал он на экзамене, и не мог сознаться, что эти чувства и теперь не оставили его. Чувствовала его тайные чувства и Катя и однажды, во время ссоры, воскликнула:

– Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по-твоему, все так дурно во мне! И чего ты, наконец, хочешь от меня?

Но он и сам не понимал, за что он любил ее, хотя чувствовал, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастает вместе с той ревнивой борьбой, которую он вел с кем-то, с чем-то из-за нее, из-за этой любви, из-за ее напрягающейся силы, все более возрастающей требовательности.

– Ты любишь только мое тело, а не душу! –

горько сказала однажды Катя.

Опять это были чьи-то чужие, театральные слова, но они, при всей их вздорности и избитости, тоже касались чего-то мучительно-неразрешимого. Он не знал, за что любил, не мог точно сказать, чего хотел... Что это значит вообще – любить? Ответить на это было тем более невозможно, что ни в том, что слышал Митя о любви, ни в том, что читал он о ней, не было ни одного точно определяющего ее слова. В книгах и в жизни все как будто раз и навсегда условились говорить или только о какой-то почти бесплотной любви, или только о том, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была не похожа ни на то, ни на другое. Что испытывал он к ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тело доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертного блаженства, когда он расстегивал ее кофточку и целовал ее грудь, райски прелестную и девственную, раскрытую с какой-то душу потрясающей покорностью, бесстыдностью чистейшей невинности?

IV

Она все больше менялась.

Успех на экзамене много значил. И все-таки были на то и какие-то другие причины.

Как-то сразу превратилась Катя с наступлением весны как бы в какую-то молоденькую светскую даму, нарядную и все куда-то спешащую. Мите теперь просто стыдно было за свой темный коридор, когда она приезжала, – теперь она не приходила, а всегда приезжала, – когда она, шурша шелком, быстро шла по этому коридору, опустив на лицо вуальку. Теперь она бывала неизменно нежна с ним, но неизменно опаздывала и сокращала свидания, говоря, что ей опять надо ехать с мамой к портнихе.

– Понимаешь, франтим напропалую! – говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не верит ей, и все-таки говоря, так как говорить теперь стало совсем не о чем.

И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала из рук, на отлете сидя на кровати Мити и с ума сводя

его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А перед тем как уехать и сказать, что нынче вечером ее опять не будет дома, – опять надо к кому-то с мамой! – она неизменно проделывала одно и то же, с явной целью одурачить его, наградить за все его «глупые», как она выражалась, мучения: притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала с кровати и, вильнув бедрами по его ногам, говорила поспешным шепотом:

– Ну, целуй же меня!

V

И в конце апреля Митя наконец решил дать себе отдых и уехать в деревню.

Он совершенно замучил и себя и Катю, и мука эта была тем нестерпимее, что как будто не было никаких причин для нее: что в самом деле случилось, в чем виновата Катя? И однажды Катя, с твердостью отчаяния, сказала ему:

– Да, уезжай, уезжай, я больше не в силах! Нам надо временно расстаться, выяснить наши отношения. Ты стал так худ, что мама убеждена, что у тебя чахотка. Я больше не мо-

гу!

И отъезд Мити был решен. Но уезжал Митя, к великому своему удивлению, хотя и не помня себя от горя, все-таки почти счастливый. Как только отъезд был решен, неожиданно вернулось все прежнее. Ведь он все-таки страстно не хотел верить ничему тому ужасному, что ни днем, ни ночью не давало ему покоя. И достаточно было малейшей перемены в Кате, чтобы опять все изменилось в его глазах. А Катя опять стала нежна и страстна уже без всякого притворства, – он чувствовал это с безошибочной чуткостью ревнивых натур, – и опять стал он сидеть у нее до двух часов ночи, и опять было о чем говорить, и чем ближе становился отъезд, тем все нелепее казалась разлука, надобность «выяснить отношения». Раз Катя даже заплакала, – а она никогда не плакала, – и эти слезы вдруг сделали ее страшно родною ему, пронзили его чувством острой жалости и как будто какой-то вины перед ней.

Мать Кати в начале июня уезжала на все лето в Крым и увозила и ее с собой. Решили встретиться в Мисхоре. Митя тоже должен

был приехать в Мисхор.

И он собирался, делал приготовления к отъезду, ходил по Москве в том странном опьянении, которое бывает, когда человек еще бодро держится на ногах, но уже болен какой-то тяжелой болезнью. Он был болезненно, пьяно несчастен и вместе с тем болезненно счастлив, растроган возвратившейся близостью Кати, ее заботливостью к нему, — она даже ходила с ним покупать дорожные ремни, точно она была его невеста или жена, — и вообще возвратом почти всего того, что напоминало первое время их любви. И так же воспринимал он и все окружающее, — дома, улицы, идущих и едущих по ним, погоду, все время по-весеннему хмурившуюся, запах пыли и дождя, церковный запах тополей, распустившихся за заборами в переулках: все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лето, на встречу в Крыму, где уже ничто не будет мешать и все осуществится (хотя он и не знал, что именно все).

В день отъезда зашел проститься Протасов. Среди гимназистов старших классов, среди студентов нередко встречаются юноши,

усвоившие себе манеру держаться с добродушно-угрюмой насмешливостью, с видом человека, который старше, опытнее всех на свете. Таков был и Протасов, один из ближайших приятелей Мити, единственный настоящий друг его, знавший, несмотря на всю скрытность, молчаливость Мити, все тайны его любви. Он глядел, как Митя завязывал чемодан, видел, как тряслись его руки, потом с грустной мудростью ухмыльнулся и сказал:

– Чистые вы дети, прости господи! А за всем тем, любезный мой Вертер из Тамбова, все же пора бы понять, что Катя есть прежде всего типичнейшее женское естество и что сам полицеймейстер ничего с этим не поделает. Ты, естество мужское, лезешь на стену, предъявляешь к ней высочайшие требования инстинкта продолжения рода, и, конечно, все сие совершенно законно, даже в некотором смысле священо. Тело твое есть высший разум, как справедливо заметил герр Ницше. Но законно и то, что ты на этом священном пути можешь сломать себе шею. Есть же особи в мире животном, коим даже по штату полагается платить ценой собственного существова-

ния за свой первый и последний любовный акт. Но так как для тебя этот штат, вероятно, не совсем уж обязателен, то смотри в оба, поберегай себя. Вообще, не спеши. «Юнкер Шмит, честное слово, лето возвратится!» Свет не лыком шит, не клином на Кате сошелся. Вижу по твоим усилиям задушить чемодан, что ты с этим совершенно не согласен, что этот клин тебе весьма любезен. Ну, прости за непрошенный совет – и да хранит тебя Николай-угодник со всеми присными его!

А когда Протасов, тиснув Мите руку, ушел, Митя, затягивая в ремни подушку и одеяло, услышал в свое открытое во двор окно, как загремел, пробуя голос, студент, живший напротив, учившийся пению и упражнявшийся с утра до вечера, – запел «Азру». Тогда Митя заспешил с ремнями, застегнул их как попало, схватил картуз и пошел на Кисловку, – проститься с матерью Кати. Мотив и слова песни, которую запел студент, так настойчиво звучали и повторялись в нем, что он не видел ни улиц, ни встречных, шел еще пьянее, чем ходил все последние дни. В самом деле было похоже на то, что свет клином сошелся,

что юнкер Шмит из пистолета хочет застрелиться! Ну, что ж, сошелся так сошелся, думал он и опять возвращался к песне о том, как, гуляя по саду и «красой своей сияя», встречала дочь султана в саду черного невольника, который стоял у фонтана «бледнее смерти», как однажды спросила она его, кто он и откуда, и как ответил он ей, начав зловеще, но смиренно, с угрюмой простотой:

Зовусь Магометом я... —

и кончив восторженно-трагическим воплем:

*Я из рода бедных Азров,
Полюбив, мы умираем!*

Катя одевалась, чтобы ехать на вокзал провожать его, ласково крикнула ему из своей комнаты, — из комнаты, где он провел столько незабвенных часов! — что она приедет к первому звонку. Милая, добрая женщина с малиновыми волосами сидела одна, курила и очень грустно посмотрела на него, — она, вероятно, все давно понимала, обо всем догадывалась. Он, весь алый, внутренне дрожащий, поцеловал ее нежную и дряблую руку, по-сыно-

вьи склонив голову, и она с материнской лаской несколько раз поцеловала его в висок и перекрестила.

– Эх, милый, – с несмелой улыбкой сказала она словами Грибоедова, – живите-ка смеясь! Ну, Христос с вами, поезжайте, поезжайте...

VI

Сделав все то последнее, что нужно было сделать в номерах, уложив свои вещи в кривую извозничью пролетку при помощи коридорного, он наконец неловко уселся возле них, тронулся и тотчас же почувствовал то особое, что охватывает при отъезде, – кончен (и навсегда) известный срок жизни! – и вместе с тем внезапную легкость, надежду на начало чего-то нового. Он несколько успокоился и бодрее, как бы новыми глазами стал глядеть вокруг. Конец, прощай Москва и все, что пережито в ней! Накрапывало, хмурилось, в переулках было пусто, бульжник был темен и блестел, как железный, дома стояли невеселые, грязные. Извозчик вез с мучительной неспешностью и то и дело заставлял Митю отворачиваться и стараться не дышать. Про-

ехали Кремль, потом Покровку и опять свернули в переулки, где в садах хрипло орала к дождю и к вечеру ворона, а все же была весна, весенний запах воздуха. Но вот наконец доехали, и Митя бегом кинулся за носильщиком по людному вокзалу, на перрон, потом на третий путь, где уже был готов длинный и тяжелый курский поезд. И из всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поезд, из-за всех носильщиков, с грохотом и предупреждающими покрякиваниями кативших тележки с вещами, он мгновенно выделил, увидел то, что, «красой своей сияя», одиноко стояло вдали и казалось совершенно особым существом не только во всей этой толпе, но и во всем мире. Уже пробил первый звонок, – на этот раз опоздал он, а не Катя. Она трогательно приехала раньше его, она его ждала и кинулась к нему опять с заботливостью жены или невесты:

– Милый, занимай скорее место! Сейчас второй звонок!

А после второго звонка она еще трогательнее стояла на платформе, снизу глядя на него, стоявшего в дверях третьеклассного вагона,

уже битком набитого и вонючего. Все в ней было прелестно, – ее милое, хорошенькое личико, ее небольшая фигурка, ее свежесть, молодость, где женственность еще мешалась с детскостью, ее вверх поднятые сияющие глаза, ее голубая скромная шляпка, в изгибах которой была некоторая изящная задорность, и даже ее темно-серый костюм, в котором Митя с обожанием чувствовал даже материю и шелк подкладки. Он стоял худой, нескладный, на дорогу он надел высокие грубые сапоги и старую куртку, пуговицы которой были обтерты, краснели медью. И все-таки Катя смотрела на него непритворно любящим и грустным взглядом. Третий звонок так неожиданно и резко ударил по сердцу, что Митя ринулся с площадки вагона как безумный и так же безумно, с ужасом кинулась к нему навстречу Катя. Он припал к ее перчатке и, вскочив назад, в вагон, сквозь слезы замахал ей картузом с неистовым восторгом, а она подхватила рукой юбку и поплыла вместе с платформой назад, все еще не спуская с него поднятого взгляда. Она плыла еще быстрее, ветер все сильнее трепал волосы высу-

нувшегося из окна Мити, а паровоз расходился все шибче, все беспощаднее, наглым, угрожающим ревом требуя путей, – и вдруг точно сорвало и ее и конец платформы...

VII

Давно наступили долгие весенние сумерки, темные от дождевых туч, тяжелый вагон грохотал в голом и прохладном поле, – в полях весна была еще ранняя, – шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя в фонари свечи, а Митя все еще стоял возле дребезжащего окна, чувствуя запах Катиной перчатки, оставшийся на его губах, все еще весь пылал острым огнем последнего мига разлуки. И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся целиком и уже совсем в каком-то новом свете вставала перед ним. В новом свете, опять в новом, стояла теперь перед ним и Катя... Да, да, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тело? Это что такое? Ничего этого нет, – есть что-то другое, совсем другое! Вот этот запах перчатки – разве это тоже не Катя, не любовь, не душа, не

тело? И мужики, рабочие в вагоне, женщина, которая ведет в отхожее место своего безобразного ребенка, тусклые свечи в дребезжащих фонарях, сумерки в весенних пустых полях – все любовь, все душа, и все мука, и все несказанная радость.

Утром был Орел, пересадка, провинциальный поезд возле дальней платформы. И Митя почувствовал: какой это простой, спокойный и родной мир по сравнению с московским, уже отошедшим куда-то в тридешатое царство, центром которого была Катя, теперь такая как будто одинокая, жалкая, любимая только нежно! Даже небо, кое-где подмазанное бледной синевой дождевых облаков, даже ветер тут проще и спокойнее... Поезд из Орла шел не спеша, Митя не спеша ел тульский печатный пряник, сидя в почти пустом вагоне. Потом поезд разошелся и умотал, усыпил его.

Проснулся он только в Верховье. Поезд стоял, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже как-то захолустно. Приятно пахло чадом станционной кухни. Митя с удовольствием съел тарелку щей и выпил бутылку пива, потом опять задремал, – глубокая усталость на-

пала на него. А когда он опять очнулся, поезд мчался по весеннему березовому лесу, уже знакомому, перед последней станцией. Опять по-весеннему сумрачно темнело, в открытое окно пахло дождем и как будто грибами. Лес стоял еще совсем голый, но все же грохотанье поезда отдавалось в нем отчетливее, чем в поле, а вдали уже мелькали по-весеннему печальные огоньки станции. Вот и высокий зеленый огонь семафора, – особенно прелестный в такие сумерки в березовом голом лесу, – и поезд со стуком стал переходить на другой путь... Боже, как по-деревенски жалок и мил работник, ждущий барчука на платформе!

Сумерки и тучи все сгущались, пока ехали от станции по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло в этих необыкновенно мягких сумерках, в глубочайшей тишине земли, теплой ночи, слившейся с темнотой неопределенных, низко нависших дождевых туч, и опять Митя дивился и радовался: как спокойна, проста, убога деревня, эти пахучие курные избы, уже давно спящие, – с Благовещенья добрые люди не вздувают огня, – и

как хорошо в этом темном и теплом степном мире! Тарантас нырял по ухабам, по грязи, дыбы за двором богатого мужика высились еще совсем нагие, неприветливые, чернели грачными гнездами. У избы стоял и вглядывался в сумрак странный, как будто из древности, мужик: босые ноги, рваный армяк, баранья шапка на длинных прямых волосах... И пошел теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумал о девках, о молодых бабах, спящих в этих избах, обо всем том женском, к чему он приблизился за зиму с Катей, и все слилось в одно – Катя, девки, ночь, весна, запах дождя, запах распаханной, готовой к оплодотворению земли, запах лошадиного пота и воспоминание о запахе лайковой перчатки.

VIII

В деревне жизнь началась днями мирными, очаровательными.

Ночью по пути со станции Катя как будто померкла, растворилась во всем окружающем. Но нет, это только так показалось и казалось еще несколько дней, пока Митя отсыпался, приходил в себя, привыкал к новизне с детства знакомых впечатлений родного дома, деревни, деревенской весны, весенней наготы и пустоты мира, опять чисто и молодо готового к новому расцвету.

Усадьба была небольшая, дом старый и незатейливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни, – жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница-гимназистка, и брат Костя, подросток-кадет, были еще в Орле, учились, должны были приехать не раньше начала июня. Мама, Ольга Петровна, была, как всегда, занята хозяйством, в котором ей помогал только приказчик, – староста, как называли его на дворе, – часто бывала в поле, ложилась спать, как только темнело.

Когда Митя, на другой день по приезде, проспавши двенадцать часов, вымытый, во всем чистом, вышел из своей солнечной комнаты, — она была окнами в сад, на восток, — и прошел по всем другим, он живо испытал чувство их родственности и мирной, успокаивающей и душу и тело простоты. Везде все стояло на своих привычных местах, как и много лет тому назад, и так же знакомо и приятно пахло; везде к его приезду все было прибрано, во всех комнатах были вымыты полы. Домывали только зал, примыкавший к прихожей, к лакейской, как ее называли еще до сих пор. Веснушчатая девка, поденщица с деревни, стояла на окне возле дверей на балкон, тянулась к верхнему стеклу, со свистом протирая его и отражаясь в нижних стеклах синеющим, как бы далеким, отражением. Горничная Параша, вытащив большую тряпку из ведра с горячей водой, босая, белоногая, шла по залитому полу на маленьких пятках и сказала дружественно-развязной скороговоркой, вытирая пот с разгоревшегося лица сгибом засученной руки:

— Идите кушайте чай, мамаша еще до свету

уехали на станцию со старостой, вы небось и не слышали...

И тотчас же Катя властно напомнила о себе: Митя поймал себя на вожделении к этой засученной женской руке и к женственному изгибу тянувшейся вверх девки на окне, к ее юбке, под которую крепкими тумбочками уходили голые ноги, и с радостью ощутил власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовал ее тайное присутствие во всех впечатлениях этого утра.

И присутствие это чувствовалось все живее и живее с каждым новым днем и становилось все прекраснее, по мере того как Митя приходил в себя, успокаивался и забывал ту, обыкновенную, Катю, которая в Москве так часто и так мучительно не сливалась с Катей, созданной его желанием.

IX

Первый раз жил он теперь дома взрослым, с которым даже мама держалась как-то иначе, чем прежде, а главное, жил с первой настоящей любовью в душе, уже осуществляя то самое, чего втайне ждало все его существо с детства, с отрочества.

Еще в младенчестве дивно и таинственно шевельнулось в нем нечто невыразимое на человеческом языке. Когда-то и где-то, должно быть, тоже весной, в саду, возле кустов сирени, – запомнился острый запах шпанских мух, – он, совсем маленький, стоял с какой-то молодой женщиной, – вероятно, с своей нянькой, – и вдруг что-то точно озарилось перед ним небесным светом, – не то лицо ее, не то сарафан на полной груди, – и что-то горячей волной прошло, взыграло в нем, истинно как дитя во чреве матери... Но то было как во сне. Как во сне было и все, что было потом, – в детстве, отрочестве, в гимназические годы. Были какие-то особые, ни на что не похожие восхищения то одной, то другой из тех девочек, которые приезжали со своими матерями на его

детские праздники, тайное жадное любопытство к каждому движению этого чарующего, тоже ни на что не похожего маленького существа в платьице, в башмачках, с бантом шелковой ленты на головке. Было (это уже позднее, в губернском городе) длившееся почти всю осень и уже гораздо более сознательное восхищение гимназисточкой, часто появлявшейся по вечерам на дереве за забором соседнего сада: ее резвость, насмешливость, коричневое платьице, круглый гребешок в волосах, грязные ручки, смех, звонкий крик – все было таково, что Митя думал о ней с утра до вечера, грустил, порою даже плакал, неутолимо что-то желая от нее. Потом и это как-то само собой кончилось, забылось, и были новые, более или менее долгие, – и опять-таки сокровенные, – восхищения, были острые радости и горести внезапной влюбленности на гимназических балах... были какие-то томления в теле, в сердце же смутные предчувствия, ожидания чего-то...

Он родился и вырос в деревне, но гимназистом поневоле проводил весну в городе, за исключением одного года, позапрошлого, когда

он, приехав в деревню на Масленицу, захворал и, поправляясь, пробыл дома март и половину апреля. Это было незабвенное время. Недели две он лежал и только в окно видел каждый день меняющиеся вместе с увеличением в мире тепла и света небеса, снег, сад, его стволы и ветви. Он видел: вот утро, и в комнате так ярко и тепло от солнца, что уже ползают по стеклам оживающие мухи... вот послеобеденный час на другой день: солнце за домом, с другой его стороны, а в окне уже до голубизны бледный весенний снег и крупные белые облака в синеве, в вершинах деревьев... а вот, еще через день, в облачном небе такие яркие прогалины, и на коре деревьев такой мокрый блеск, и так каплет с крыши над окном, что не нарадуешься, не нагладисься... После пошли теплые туманы, дожди, снег распустило и съело в несколько суток, тронулась река, стала радостно и ново чернеть, обнажаться и в саду и на дворе земля... И надолго запомнился Мите один день в конце марта, когда он в первый раз поехал верхом в поле. Небо не ярко, но так живо, так молодо светилось в бледных, в бесцветных

деревьях сада. В поле еще свежо дуло, жнивья были дики и рыжи, а там, где пахали, – уже пахали под овес, – маслянисто, с первобытной мощью чернели взметы. И он целиком ехал по этим жнивьям и взметам к лесу и издали видел его в чистом воздухе, – голый, маленький, видный из конца в конец, – потом спустился в его лощины и зашумел копытами лошади по глубокой прошлогодней листве, местами совсем сухой, полевой, местами мокрой, коричневой, переехал засыпанные ею овраги, где еще шла полая вода, а из-под кустов с треском вырывались прямо из-под ног лошади смугло-золотые вальдшнепы... Чем была для него вся эта весна и особенно этот день, когда так свежо дуло навстречу ему в поле, а лошадь, одолевавшая насыщенные влагой жнивья и черные пашни, так шумно дышала широкими ноздрями, храпя и ревя нутром с великолепной дикой силой? Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности в кого-то и во что-то, когда он любил всех гимназисток и всех девок в мире. Но каким далеким казалось ему это время

теперь! Насколько был он тогда еще совсем мальчик, невинный, простосердечный, бедный своими скромными печальями, радостями и мечтаниями! Сном или, скорее, воспоминанием о каком-то чудесном сне была тогда его беспредметная, бесплотная любовь. Теперь же в мире была Катя, была душа, этот мир в себе воплотившая и надо всем над ним торжествующая.

Х

Только раз в это первое время напонила о себе Катя зловеще.

Однажды, поздно вечером, Митя вышел на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырым полем. Из-за ночных облаков, над смутными очертаниями сада, слезились мелкие звезды. И вдруг где-то вдали что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаем, визгом. Митя вздрогнул, оцепенел, потом осторожно сошел с крыльца, вошел в темную, как бы со всех сторон враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и стал ждать, слушать: что это такое, где оно, — то, что так неожиданно и страшно огласило сад? Сыч,

лесной пугач, совершающий свою любовь, и больше ничего, думал он, а весь замирал как бы от незримого присутствия в этой тьме самого дьявола. И вдруг опять раздался гулкий, всю Митину душу потрясший вой, где-то близко, в верхушках аллеи, затрещало, зашумело – и дьявол бесшумно перенесся куда-то в другое место сада. Там он сначала залаял, потом стал жалобно, моляще, как ребенок, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать с мучительным наслаждением, стал взвизгивать, закатываться таким ерническим смехом, точно его щекотали и пытали. Митя, весь дрожа, впился в темноту и глазами и слухом. Но дьявол вдруг сорвался, захлебнулся и, прорезав темный сад предсмертно-истомным воплем, точно сквозь землю провалился. Напрасно прождав возобновления этого любовного ужаса еще несколько минут, Митя тихо вернулся домой – и всю ночь мучился сквозь сон всеми теми болезненными и отвратительными мыслями и чувствами, в которые превратилась в марте в Москве его любовь.

Однако утром, при солнце, его ночные тер-

зания быстро рассеялись. Он вспомнил, как заплакала Катя, когда они твердо решили, что он должен на время уехать из Москвы, вспомнил, с каким восторгом она ухватилась за мысль, что он тоже приедет в Крым в начале июня, и как трогательно помогала она ему в его приготовлениях к отъезду, как провожала она его на вокзале... Он вынул ее фотографическую карточку, долго, долго вглядывался в ее маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ее прямого, открытого (чуть круглого) взгляда... Потом написал ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное веры в их любовь, и опять возвратился к непрестанному ощущению ее любовного и светлого пребывания во всем, чем он жил и радовался.

Он помнил, что он испытал, когда умер отец, девять лет тому назад. Это было тоже весной. На другой день после этой смерти, робко, с недоумением и ужасом пройдя по залу, где с высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими бледными руками лежал на столе, чернел своей сквозной бородой и белел носом наряженный в дворянский

мундир отец, Митя вышел на крыльцо, глянул на стоявшую возле двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчой, – и вдруг почувствовал: в мире смерть! Она была во всем: в солнечном свете, в весенней траве на дворе, в небе, в саду... Он пошел в сад, в пеструю от света липовую аллею, потом в боковые аллеи, еще более солнечные, глядел на деревья и на первых белых бабочек, слушал первых, сладко заливающихся птиц – и ничего не узнавал: во всем была смерть, страшный стол в зале и длинная парчовая крышка на крыльце! Не по-прежнему, как-то не так светило солнце, не так зеленела трава, не так замирали на весенней, только еще сверху горячей траве бабочки, – все было не так, как сутки тому назад, все преобразилось как бы от близости конца мира, и жалка, горестна стала прелесть весны, ее вечной юности! И это длилось долго и потом, длилось всю весну, как еще долго чувствовался – или мнил-ся – в вымытом и много раз проветренном доме страшный, мерзкий, сладковатый запах...

Такое же наваждение, – только совсем другого порядка, – испытывал Митя и теперь: эта

весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чем все прежние весны. Мир опять был преображен, опять полон как будто чем-то посторонним, но только не враждебным, не ужасным, а напротив, — дивно сливающимся с радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вернее, то прелестнейшее в мире, чего от нее хотел, требовал Митя. Теперь, по мере того как шли весенние дни, он требовал от нее все больше и больше. И теперь, когда ее не было, был только ее образ, образ не существующий, а только желанный, она, казалось, ничем не нарушала того беспорочного и прекрасного, чего от нее требовали, и с каждым днем все живее и живее чувствовалась во всем, на что бы ни взглянул Митя.

Он с радостью убедился в этом в первую же неделю своего пребывания дома. Тогда был как бы еще канун весны. Он сидел с книгой возле открытого окна гостиной, глядел меж стволов пихт и сосен в палисаднике на грязную речку в лугах, на деревню на косогорах за речкой: еще с утра до вечера, неустанно, изнемогая от блаженной хлопотливости, так, как орут они только ранней весной, орали грачи в голых вековых березах в соседнем помещичьем саду, и еще дик, сер был вид деревни на косогорах, и только еще одни лозины покрывались там желтоватой зеленью... Он шел в сад: и сад был еще низок и гол, прозрачен, – только зеленели поляны, все испещренные мелкими бирюзовыми цветочками, да опушился акатник вдоль аллей и бледно белел, мелко цвел один вишенник в ложине, в южной, нижней части сада... Он выходил в поле: еще пусто, серо было в поле, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и фиолетовы были высохшие полевые дороги... И все это была нагота молодости, поры ожидания –

и все это была Катя. И это только так казалось, что отвлекают девки-поденщицы, делающие то то, то другое в усадьбе, работники в людской, чтение, прогулки, хождение на деревню к знакомым мужикам, разговоры с мамой, поездки со старостой (рослым, грубым отставным солдатом) в поле на беговых дрожках...

Потом прошла еще неделя. Раз ночью был обломный дождь, а потом горячее солнце как-то сразу вошло в силу, весна потеряла свою кротость и бледность, и все вокруг на глазах стало меняться не по дням, а по часам. Стали распахивать, превращать в черный бархат жнивья, зазеленели полевые межи, сочнее стала мурава на дворе, гуще и ярче засинело небо, быстро стал одеваться сад свежей, мягкой даже на вид зеленью, залиловели и запахли серые кисти сирени, и уже появилось множество черных, металлически блестящих синевой крупных мух на ее темно-зеленой глянцевитой листве и на горячих пятнах света на дорожках. На яблонях, грушах еще были видны ветви, их едва тронула мелкая, сероватая и особенно мягкая листва, но эти яблони

и груши, всюду простиравшие сети своих кривых ветвей под другими деревьями, все уже закудрявились млечным снегом, и с каждым днем этот цвет становился все белее, все гуще и все благовоннее. В это дивное время радостно и пристально наблюдал Митя за всеми весенними изменениями, происходящими вокруг него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди них, а напротив, – участвовала в них во всех и всему придавала себя, свою красоту, расцветающую вместе с расцветом весны, с этим все роскошнее белеющим садом и все темнее синеющим небом.

XII

И вот однажды, выйдя в зал, полный предвечернего солнца, к чаю, Митя неожиданно увидел возле самовара почту, которую он напрасно ждал все утро. Он быстро подошел к столу – уж давно должна была Катя ответить хоть на одно из писем, что отправил он ей, – и ярко и жутко блеснул ему в глаза небольшой изысканный конверт с надписью на нем знакомым жалким почерком. Он схватил его и зашагал вон из дома, потом по саду, по главной аллее. Он ушел в самую дальнюю часть сада, туда, где через него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвал конверт. Письмо было кратко, всего в несколько строк, но Мите нужно было раз пять прочесть их, чтобы наконец понять, – так колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный!» – читал и перечитывал он – и земля плыла у него под ногами от этих восклицаний. Он поднял глаза: над садом торжественно и радостно сияло небо, вокруг сиял сад своей снежной белизной, соловей, уже чуя предвечерний холодок, четко и сильно, со

всей сладостью соловьиного самозабвения, щелкал в свежей зелени дальних кустов – и кровь отлила от его лица, мурашки побежали по волосам...

Домой он шел медленно – чаша его любви была полна с краями. И так же осторожно носил он ее в себе и следующие дни, тихо, счастливо ожидая нового письма.

XIII

Сад разнообразно одевался.

Огромный старый клен, возвышавшийся над всей южной частью сада, видный отовсюду, стал еще больше и виднее, – оделся свежей, густой зеленью.

Выше и виднее стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрел из своих окон: вершины ее старых лип, тоже покрывшиеся, хотя еще прозрачно, узором юной листвы, поднялись и протянулись над садом светло-зеленой грядой.

А ниже клена, ниже аллеи лежало нечто сплошное кудрявого, благоуханного сливочного цвета.

И все это: огромная и пышная вершина

клена, светло-зеленая гряда аллеи, подвенечная белизна яблонь, груш, черемух, солнце, синева неба и все то, что разрасталось в низах сада, в лощине, вдоль боковых аллей и дорожек и под фундаментом южной стены дома, – кусты сирени, акации и смородины, лопухи, крапива, чернобыльник, – все поражало своей густотой, свежестью и новизной.

На чистом зеленом дворе от надвигающейся отовсюду растительности стало как будто теснее, дом стал как будто меньше и красивее. Он как будто ждал гостей – по целым дням были открыты и двери и окна во всех комнатах: в белом зале, в синей старомодной гостиной, в маленькой диванной, тоже синей и увешанной овальными миниатюрами, и в солнечной библиотеке, большой и пустой угловой комнате со старыми иконами в переднем углу и низкими книжными шкафами из ясени вдоль стен. И везде в комнаты празднично глядели приблизившиеся к дому разнообразно зеленые, то светлые, то темные, деревья с яркой синевой между ветвями.

Но письма не было. Митя знал неспособность Кати к письмам и то, как трудно ей все-

гда собраться сесть за письменный стол, найти перо, бумагу, конверт, купить марку... Но разумные соображения опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая уверенность, с которой он несколько дней ждал второго письма, исчезла, – он томился и тревожился все сильнее. Ведь за таким письмом, как первое, тотчас же должно было последовать что-то еще более прекрасное и радующее. Но Катя молчала.

Он реже стал ходить на деревню, ездить в поле. Он сидел в библиотеке, перелистывал журналы, уже десятки лет желтевшие и сохнувшие в шкафах. В журналах было много прекрасных стихов старых поэтов, чудесных строк, говоривших почти всегда об одном, – о том, чем полны все стихи и песни с начала мира, чем жила теперь и его душа и что неизменно мог он так или иначе отнести к самому себе, к своей любви, к Кате. И он по целым часам сидел в кресле возле раскрытого шкафа и мучил себя, читая и перечитывая:

*Люди спят, мой друг, пойдем в
тенистый сад!*

Люди спят, одни лишь звезды к

нам глядят...

Все эти чарующие слова, все эти призывы были как бы его собственными, обращены были теперь как будто только к одной, к той, кого неотступно видел во всем и всюду он, Митя, и звучали порою почти грозно:

*Над зеркальными водами
Машут лебеди крылами —
И колышется река:
О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака...*

Он, закрывая глаза, холодея, по несколько раз кряду повторял этот призыв, зов сердца, переполненного любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженного разрешения. Потом долго смотрел перед собою, слушал глубокое деревенское молчание, окружавшее дом, – и горько качал головой. Нет, она не отзывалась, она безмолвно сияла где-то там, в чужом и далеком московском мире! – И опять отливала от сердца нежность – опять росло, ширилось это грозное, зловещее, заклинающее:

*О, приди же! Звезды блещут,
Листья медленно трепещут,
И находят облака...*

XIV

Однажды, подремав после обеда, – обедали в полдень, – Митя вышел из дома и не спеша пошел в сад. В саду часто работали девки, окапывали яблони, работали они и нынче. Митя шел посидеть возле них, поболтать с ними, – это уже входило в привычку.

День был жаркий, тихий. Он шел в сквозной тени аллеи и далеко видел вокруг себя кудрявые белоснежные ветви. Особенно силен, густ был цвет на грушах, и смесь этой белизны и яркой синевы неба давала фиолетовый оттенок. И груши и яблони цвели и осыпались, разрытая земля под ними была вся усеяна блеклыми лепестками. В теплом воздухе чувствовался их сладковатый, нежный запах вместе с запахом нагретого и преющего на скотном дворе навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубело, и теплый воздух и эти тленные запахи делались еще нежнее и слаще. И все душистое тепло этого весеннего

рая дремотно и блаженно гудело от пчел и шмелей, зарывавшихся в его медвяный кудрявый снег. И все время, блаженно скучая, по-дневному, то там, то здесь цокал то один, то другой соловей.

Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налево, в углу садового вала, чернел ельник. Возле ельника пестрели среди яблонь две девки. Митя, как всегда, повернул со середины аллеи на них, – нагибаясь, пошел среди низких и раскидистых ветвей, женственно касавшихся его лица и пахнувших и медом, и как будто лимоном. И, как всегда, одна из девок, рыжая, худая Сонька, лишь только завидела его, дико захохотала и закричала.

– Ой, хозяин идет! – закричала она с приторным испугом и, соскочив с толстого сука груши, на котором она отдыхала, кинулась к лопате.

Другая девка, Глашка, сделала, напротив, вид, что совсем не замечает Митю, и, не спеша, крепко ставя на железную лопату ногу в мягкой чуне из черного войлока, за которую набились белые лепестки, энергично врезая лопату в землю и переворачивая отрезанный

ломоть, громко запела сильным и приятным голосом: «Уж ты сад, ты мой сад, для кого ж ты цветешь!» Это была девка рослая, мужественная и всегда серьезная.

Митя подошел и сел на место Соньки, на старый грушевый сук, лежавший на рассохе. Сонька ярко глянула на него и громко, с деланной развязностью и веселостью спросила:

– Ай только встали? Смотрите, дела не проспите!

Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умела, держала себя при нем неловко, говорила что попало, всегда, однако, намекая на что-то, смутно угадывая, что рассеянность, с которой Митя постоянно и приходил и уходил, не простая. Она подозревала, что Митя живет с Парашей или, по крайней мере, домогается этого, она ревновала и говорила с ним то нежно, то резко, глядела то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло Мите странное удовольствие. Письма не было и не было, он теперь не жил, а только изо дня на день существовал в непрестанном ожидании, все более томясь этим ожиданием и

невозможностью ни с кем поделиться тайной своей любви и муки, поговорить о Кате, о своих надеждах на Крым, и потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему приятны: ведь все-таки эти разговоры как бы касались того сокровенного, чем томилась его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена в него, а значит, отчасти близка ему, что делало ее как бы тайной соучастницей любовной жизни его души, даже давало порой странную надежду, что в Соньке можно найти не то наперсницу своих чувств, не то некоторую замену Кати.

Теперь Сонька, сама того не подозревая, опять коснулась его тайны: «Смотрите, дела не проспите!» Он посмотрел вокруг. Сплошная темно-зеленая чаща ельника, стоявшая перед ним, казалась от яркости дня почти черной, и небо сквозило в ее острых верхушках особенно великолепной синевой. Молодая зелень лип, кленов, вязов, насквозь светлая от солнца, всюду проникавшего ее, составляла по всему саду легкий радостный навес, сыпала пестроту тени и ярких пятен на траву, на дорожки, на поляны; жаркий и ду-

шистый цвет, белевший под этим навесом, казался фарфоровым, сиял, светился там, где солнце тоже проникало его. Митя, против воли улыбаясь, спросил Соньку:

– Какое же дело я могу проспять? То-то и горе, что у меня и дел-то никаких нету.

– Молчите уж, не божитесь, и так поверю! – крикнула Сонька в ответ весело и грубо, опять своим недоверием к отсутствию у Мити любовных дел доставляя ему удовольствие, и вдруг опять заорала, отмахиваясь от рыжего, с белой курчавой шерсткой на лбу теленка, который медленно вышел из ельника, подошел к ней сзади и стал жевать оборку ее ситцевого платья:

– Ах, оморок тебя возьми! Вот еще сыночка Бог послал!

– Правда, говорят, за тебя сватаются? – сказал Митя, не зная, что сказать, а желая продолжить разговор. – Говорят, двор богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не слушаешься...

– Богат, да дурковат, в голове рано смеркается, – бойко ответила Сонька, несколько польщенная. – У меня, может, об другом об ком

думки идут...

Серьезная и молчаливая Глашка, не прерывая работы, покачала головой:

– Уж и несешь ты, девка, и с Дону и с моря! – негромко сказала она. – Ты тут брешешь что попало, а по селу слава пойдет...

– Молчи, не кудахтай! – крикнула Сонька. – Авось я не ворона, есть оборона!

– А о ком же это о другом у тебя думки идут? – спросил Митя.

– Так и призналась! – сказала Сонька. – Вон в вашего деда-пастуха влюбилась. Увижу, так до пят горячо! Я, не хуже вашего, все на старых лошадях езжу, – сказала она вызывающе, намекая, очевидно, на двадцатилетнюю Парашу, которая на деревне считалась уже старой девкой. И, внезапно бросив лопату, со смелостью, на которую она как будто имела некоторое право вследствие своей тайной влюбленности в барчука, села на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги в старых грубых полсапожках и в шерстяных пегих чулках и беспомощно уронила руки.

– Ох, ничего не делала, а уморилась! – крикнула она, смеясь. – Сапоги мои худые, –

пронзительно запела она, —

*Сапоги мои худые,
Носки лаковые, —*

и опять закричала, смеясь:

– Пойдемте со мной в салаш отдыхать, я на все согласная!

Смех этот заразил Митю. Широко и неловко улыбаясь, он соскочил с сука и, подойдя к Соньке, лег и положил ей голову на колени. Сонька скинула ее – он опять положил, опять думая стихами, которых он начитался за последние дни:

*Вижу, роза, – счастья сила
Яркий свиток свой раскрыла
И увлажжила росой —
Необъятный, непонятный,
Благовонный, благодатный
Мир любви передо мной...*

– Не трожьте меня! – закричала Сонька уже с искренним испугом, стараясь поднять и отбросить его голову. – А то так закричу, все волки в лесу завоюют! У меня ничего для вас нету, горело, да потухло!

Митя закрыл глаза и молчал. Солнце, дро-

бьась через листву, ветви и грушевый цвет, горячими пятнами пестрило, щекотало его лицо. Сонька нежно и зло рванула его черные жесткие волосы, – «чисто у лошади!» – крикнула она и прикрыла ему картузом глаза. Под затылком он чувствовал ее ноги, – самое страшное в мире, женские ноги! – касался им ее живота, слышал запах ситцевой юбки и кофточки, и все это мешалось с цветущим садом и с Катей; томное цоканье соловьев вдаль и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжание несметных пчел, медвяный теплый воздух и даже простое ощущение земли под спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловеческого счастья. И вдруг в ельнике что-то зашуршало, весело и злорадно захохотало, потом гулко раздалось: «ку-ку! ку-ку!» – и так жутко, так выпукло, так близко и так явственно, что слышен был хрип и дрожание острого язычка, а желание Кати и желание, требование, чтобы она во что бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловеческое счастье, охватило так неистово, что Митя, к крайнему удивлению Соньки, порывисто вскочил и большими ша-

гами зашагал прочь.

Вместе с этим неистовым желанием, требованием счастья, под этот гулкий голос, внезапно раздавшийся с такой страшной ответственностью над самой его головой в ельнике и как будто до дна разверзший лоно всего этого весеннего мира, он вдруг вообразил, что письма не будет и не может быть, что в Москве что-то случилось или вот-вот случится и что он погиб, пропал!

XV

В доме он на минуту остановился перед зеркалом в зале. «Она права, – подумал он, – глаза у меня, если и не византийские, то, во всяком случае, сумасшедшие. А эта худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волос, действительно почти лошадиных, как сказала Сонька?»

Но сзади его послышался быстрый топот босых ног. Он смутился, обернулся.

– Верно, влюбились, все в зеркало смотришь, – с ласковой шутливостью сказала Параша, пробегая мимо с кипящим самоваром в

руках на балкон.

– Вас мама искали, – прибавила она, с размаху ставя самовар на убранный к чаю стол, и, обернувшись, быстро и зорко взглянула на Митю.

«Все знают, все догадываются!» – подумал Митя и через силу спросил:

– А где она?

– У себя в комнате.

Солнце, обойдя дом и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывало под сосны и пихты, своими хвойными ветвями осенявшие балкон. Кусты бересклета под ними блестели тоже совсем по-летнему, стеклянно. Стол, покрытый легкой тенью и кое-где жаркими пятнами света, сиял скатертью. Осы вились над корзиночкой с белым хлебом, над граненой вазой с вареньем, над чашками. И вся эта картина говорила о прекрасном деревенском лете и о том, как можно было бы быть счастливым, беззаботным. Чтобы предупредить выход мамы, которая, конечно, не менее других понимает его положение, и чтобы показать, что у него вовсе нет никаких тяжелых тайн на душе, Митя пошел из зала в

коридор, в который выходили двери его комнаты, маминой и двух других, где летом жили Аня и Костя. В коридоре было сумрачно, в комнате Ольги Петровны синевато. Вся комната была тесно и уютно загромождена наиболее старинной мебелью, имевшейся в доме: шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, перед которой, как обыкновенно, горела лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религиозности. За открытыми окнами, на запущенном цветнике перед входом в главную аллею, лежала широкая тень, за тенью празднично зеленел и белел в упор освещенный сад. Не глядя на весь этот давно привычный вид, опустив глаза в очках на вязанье, Ольга Петровна, крупная и сухощавая, черная и серьезная сорокалетняя женщина, сидела у окна в кресле и быстро ковыряла крючком.

– Ты спрашивала меня, мама? – сказал Митя, входя и останавливаясь у порога.

– Да нет, я просто хотела тебя видеть. Я ведь теперь почти никогда, кроме обеда, не вижу тебя, – ответила Ольга Петровна, не прерывая работы и как-то особенно, не в меру

спокойно.

Митя вспомнил, как девятого марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери, вспомнил тайное очаровательное значение, которое, несомненно, было в ее словах... Он неловко пробормотал:

– Но ты, может, хотела что-нибудь сказать мне?

– Ничего, кроме того, что мне кажется, что ты что-то заскучал последние дни, – сказала Ольга Петровна. – Может, проехался бы куда-нибудь... к Мещерским, например... Полон дом невест, – прибавила она, улыбаясь, – и вообще, по-моему, очень милая и радушная семья.

– Как-нибудь на днях с удовольствием съезжу, – с трудом ответил Митя. – Но пойдем чай пить, там так хорошо на балконе... Там и поговорим, – сказал он, отлично зная, что мама, по своему проницательному уму и по своей сдержанности, не будет больше возвращаться к этому бесполезному разговору.

На балконе они просидели почти до заката. Мама после чая продолжала вязать и говорить о соседях, о хозяйстве, об Ане и Косте, – у

Ани опять передержка в августе! Митя слушал, порою отвечал, но все время испытывал нечто подобное тому, что он испытывал перед отъездом из Москвы, — что опять он как будто пьян от какой-то тяжелой болезни.

А вечером он часа два безостановочно шагал по дому взад и вперед, насквозь проходя зал, гостиную, диванную и библиотеку, вплоть до ее южного окна, открытого в сад. В окна зала и гостиной мягко краснел меж ветвями сосен и пихт закат, слышались голоса и смех работников, собиравшихся к ужину возле людской. В пролет комнат, в окно библиотеки, глядела ровная и бесцветная синева вечернего неба с неподвижной звездой над ней; на этой синеве картинно рисовалась зеленая вершина клена и белизна, как бы зимняя, всего того, что цвело в саду. А он шагал и шагал, уже совсем не заботясь о том, как будет это истолковано в доме. Зубы его были стиснуты до боли в голове.

XVI

С этого дня он перестал следить за всеми теми переменами, что совершало вокруг него наступающее лето. Он видел и даже чувствовал их, эти перемены, но они потеряли для него свою самостоятельную ценность, он наслаждался ими только мучительно: чем было лучше, тем мучительнее было ему. Катя стала уже истинным наваждением; Катя была теперь во всем и за всем уже до нелепости, а так как всякий новый день все страшнее подтверждал, что она для него, для Мити, уже не существует, что она уже в чьей-то чужой власти, отдает кому-то другому себя и свою любовь, всецело долженствующую принадлежать ему, Мите, то и все в мире стало казаться ненужным, мучительным и тем более ненужным и мучительным, чем более оно было прекрасно.

По ночам он почти не спал. Прелесть этих лунных ночей была несравненна. Тихо-тихо стоял ночной млечный сад. Осторожно, изнемогая от неги, пели ночные соловьи, состязаясь друг с другом в сладости и тонкости пе-

сен, в их чистоте, тщательности, звучности. И тихая, нежная, совсем бледная луна низко стояла над садом, и неизменно сопутствовала ей мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватых облаков. Митя спал с незанавешенными окнами, и сад и луна всю ночь смотрели в них. И всякий раз, как он открывал глаза и взглядывал на луну, он тотчас же мысленно произносил, как одержимый: «Катя!» – и с таким восторгом, с такой болью, что ему самому становилось дико: чем, в самом деле, могла напомнить ему Катю луна, а ведь напомнила же, напомнила чем-то и, что всего удивительнее, даже чем-то зрительным! А порою он просто ничего не видел: желание Кати, воспоминания о том, что было между ними в Москве, охватывали его с такой силой, что он весь дрожал лихорадочной дрожью и молил Бога – и, увы, всегда напрасно! – увидеть ее вместе с собой, вот на этой постели, хоть во сне. Однажды зимой он был с ней в Большом театре на «Фаусте» с Собиновым и Шаляпиным. Почему-то в этот вечер все казалось ему особенно восхитительным: и светлая, уже знойная и душистая от многолюдства бездна,

зиявшая под ними, и красно-бархатные, с золотом, этажи лож, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сияние над этой бездной гигантской люстры, и льющися далеко внизу под маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящие, дьявольские, то бесконечно нежные и грустные: «Жил-был в Фуле добрый король...» Проводив после этого спектакля, по крепкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засиделся у нее, особенно изнемог от поцелуев и унес с собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себе на ночь косу. Теперь, в эти мучительные майские ночи, он дошел до того, что не мог думать без содрогания даже об этой ленте, лежавшей в его письменном столе.

А днем он спал, потом уезжал верхом в то село, где была железнодорожная станция и почта. Дни продолжали стоять погожие. Перепадали дожди, пробегали грозы и ливни, и опять сияло жаркое солнце, непрестанно творившее свою спешную работу в садах, полях и лесах. Сад отцветал, осыпался, но зато продолжал буйно густеть и темнеть. Леса тонули

уже в несметных цветах, в высоких травах, и звучная глубина их немолчно звала в свои зеленые недра соловьями и кукушками. Уже исчезла нагота полей – их сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлебов. И Митя по целым дням пропадал в этих лесах и полях.

Слишком стыдно стало ему торчать каждое утро на балконе или среди двора в бесплодном ожидании приезда с почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работников ездить за восемь верст за пустяками. И вот он стал ездить на почту сам. Но и сам он неизменно возвращался домой с одним номером орловской газеты или письмом Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайнего предела. Поля и леса, по которым ехал он, так подавляли его своей красотой, своим счастьем, что он стал чувствовать где-то в груди боль даже телесную.

Раз, перед вечером, он ехал с почты через пустую соседскую усадьбу, стоявшую в старом парке, который сливался с окружавшим его березовым лесом. Он ехал по табельному проспекту, как называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огром-

ных черных елей. Великолепно-мрачная, широкая, вся покрытая толстым слоем рыжей скользкой хвои, она вела к старинному дому, стоявшему в самом конце ее коридора. Красный, сухой и спокойный свет солнца, опускаясь слева за парком и лесом, наискось озарял между стволами низ этого коридора, блестел по его хвойной золотистой настилке. И такая зачарованная тишина царила кругом, – только одни соловьи гремели из конца в конец парка, – так сладко пахло и елями и жасмином, кусты которого отовсюду обступали дом, и такое великое – чье-то чужое, давнее – счастье почувствовалось Мите во всем этом и так страшно явственно вдруг представилась ему на огромном ветхом балконе, среди кустов жасмина, Катя в образе его молодой жены, что он сам ощутил, как смертельная бледность стягивает его лицо, и твердо сказал вслух, на всю аллею:

– Если через неделю письма не будет, – застрелюсь!

XVII

На другой день он встал очень поздно. После обеда он сидел на балконе, держал на коленях книгу, глядел на страницы, покрытые печатью, и тупо думал: «Ехать или нет на почту?»

Было жарко, белые бабочки парами вились друг за другом над горячей травой, над стеклянно блестящим бересклетом. Он следил за бабочками и опять спрашивал себя: «Ехать или разом оборвать эти постыдные поездки?»

Из-под горы, в воротах, показался верхом на жеребце староста. Староста посмотрел на балкон и поехал прямо на него. Подъехав, он остановил лошадь и сказал:

– Доброго утра! Все читаете?

И усмехнулся, оглянулся кругом.

– Мамаша спят? – спросил он негромко.

– Думаю, что спит, – ответил Митя. – А что?

Староста помолчал и вдруг серьезно сказал:

– Что ж, барчук, книжка хороша, да на все время надо знать. Что ж вы монахом-то живе-

те? Ай мало баб, девок?

Митя не отозвался и опустил глаза в книгу.

– Ты где был? – спросил он, не глядя.

– Был на почте, – сказал староста. – И, конечно, писем никаких там нету, кроме одной газетки.

– Почему же «конечно»?

– Потому что, значит, еще пишут, не дописали, – ответил староста грубо и насмешливо, обиженный тем, что Митя не поддержал его разговора. – Пожалуйста получить, – сказал он, протягивая Мите газетку, и, тронув лошадь, поехал прочь.

«Застрелюсь!» – подумал Митя твердо, глядя в книгу и ничего не видя.

XVIII

Митя и сам не мог не понимать, что нельзя и вообразить себе ничего более дикого, как это: застрелиться, раздробить себе череп, сразу оборвать биение крепкого молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослепнуть, исчезнуть из того несказанно прекрасного мира, который только теперь впервые весь открылся перед ним, мгновенно и навеки лишиться всякого участия в той самой жизни, где Катя и наступающее лето, где небо, облака, солнце, теплый ветер, хлеба в полях, села, деревни, девки, мама, усадьба, Аня, Костя, стихи в старых журналах, а где-то там – Севастополь, Байдарские ворота, сиреневые знойные горы в сосновых и буковых лесах, ослепительно белое, душное шоссе, сады Ливадии и Алупки, раскаленный песок у сияющего моря, загорелые дети, загорелые купальщицы – и опять Катя, в белом платье, под белым зонтиком, сидящая на гальке у самых волн, слепящих своим блеском, вызывающих невольную улыбку беспричинного счастья...

Он это понимал, но что же было делать?

Как и куда вырваться из того заколдованного круга? Именно это-то и было непосильно – то самое счастье, которым подавлял его мир и которому недоставало чего-то нужного.

Вот он просыпался утром, и первое, что ударяло ему в глаза, было радостное солнце, первое, что он слышал, был радостный, знакомый с детства трезвон деревенской церкви – там, за росистым, полным тени и блеска, птиц и цветов садом; радостны, милы были даже желтенькие обои на стенах, все те же, что желтели и в его детстве. Но тотчас же, восторгом и ужасом, всю душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ее молодостью, свежесть сада была ее свежестью, все то веселое, игривое, что было в трезвоне колоколов, тоже играло красотой, изяществом ее образа, дедовские обои требовали, чтобы она разделила с Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, в которой жили и умирали здесь, в этой усадьбе, в этом доме, его отцы и деды. И Митя отбрасывал прочь одеяло, вскакивал с постели в одной рубашке, с раскрытым воротом, длинноногий, худой, но все же крепкий, молодой, теп-

лый со сна, быстро выдвигал ящик письменного стола, хватал заветную фотографическую карточку и впадал в столбняк, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грация, все то неизъяснимое, сияющее и зовущее, что есть в девичьем, в женском, все было в этой немного змеиной головке, в ее прическе, в ее чуть вызывающем и вместе с тем невинном взоре! Но загадочно и с несокрушимым веселым безмолвием сиял этот взор – и где было взять сил перенести его, такой близкий и такой далекий, а теперь, может быть, даже и навеки чужой, открывший такое несказанное счастье жить и так бесстыдно и страшно обманувший?

В тот вечер, когда он ехал с почты через Шаховское, через эту старинную пустую усадьбу с черной еловой аллеей, он очень точно выразил своим неожиданным даже для самого себя восклицанием то крайнее изнеможение, которого он достиг. Стоя под окном почты, глядя с седла, как почтарь напрасно роется в куче газет и писем, он услышал сзади себя шум подходящего к станции поезда, и этот шум и запах паровозного дыма потряс

его счастьем воспоминания о Курском вокзале и вообще о Москве. Едучи по селу с почты, в каждой идущей впереди девке небольшого роста, в движении ее бедер он с испугом ловил что-то Катино. В поле он встретил чью-то тройку, – в тарантасе, который шибко несла она, мелькнули две шляпки, одна девичья, и он чуть не вскрикнул: «Катя!» Белые цветы на меже мгновенно связывались с мыслью о ее белых перчатках, синие медвежьи ушки – с цветом ее вуали... А когда он, при заходящем солнце, въезжал в Шаховское, сухой и сладкий запах елей и роскошный запах жасмина дали ему такое острое чувство лета и чьей-то старинной летней жизни в этой богатой и прекрасной усадьбе, что, взглянув на красно-золотой вечерний свет в аллее, на дом, стоявший в ее глубине, в вечеряющей тени, он вдруг увидел Катю, сходявшую, во всем расцвете женской прелести, с балкона в сад, почти совершенно так же явственно, как видел дом и жасмин. Уже давно потерял он жизненное представление о ней, и уже являлась она ему с каждым днем все необычнее, все преображеннее, – в этот же вечер ее преображение

достигло такой силы, такой торжествующей победности, что Митя ужаснулся еще более, чем в тот полдень, когда внезапно закуковала над ним кукушка.

XIX

И он перестал ездить на почту, заставил себя оборвать эти поездки отчаянным, крайним усилием воли. Перестал и сам писать. Ведь все уже было испробовано, все написано: и неистовые уверения в своей любви, такой, какой еще не бывало на земле, и унижительные мольбы о ее любви или хотя бы о «дружбе», и бессовестные выдумки, что он болен, что он пишет, лежа в постели, – с целью вызвать к себе хоть жалость, хоть какое-нибудь внимание, – и даже угрожающие намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своих «более счастливых соперников» от своего присутствия на земле. И, перестав писать и домогаться ответа, всеми силами заставляя себя не ждать ничего (а все-таки втайне надеясь, что письмо придет именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушным,

или когда в самом деле добьешься равнодушия), всячески стараясь не думать о Кате, всячески ища спасения от нее, он опять стал читать что под руку попадет, ездить со старостой по хозяйственным делам в соседние села и внутренне без устали твердить себе: «Все равно, пусть будет что будет!»

И вот однажды возвращались они со старостой с хутора, ехали на бегунках и, как всегда, шибко. Оба сидели верхом, староста впереди, – он правил, – а Митя сзади, и оба подскакивали от толчков, особенно Митя, который крепко держался за подушку и глядел то в красный затылок старосты, то на прыгающие перед глазами поля. Подъезжая к дому, староста опустил вожжи, поехал шагом, стал вертеть сигарку и, ухмыляясь в развернутый кисет, сказал:

– Вот вы тогда, барчук, обиделись на меня, а понапрасну. Разве я не правду вам говорил? Книжка хороша, отчего и не почитать на гулянках, да ведь она не уйдет, на все время надо знать.

Митя вспыхнул и неожиданно для самого себя ответил с притворной простотой и

неловкой усмешкой:

– Да никого что-то нету на примете...

– Как так? – сказал староста. – Сколько баб, девок!

– Девки только манят, – ответил Митя, стараясь говорить в тон старосте. – На девок надежда плохая.

– Не манят, а обращенья вы не знаете, – сказал староста уже наставительно. – И опять же скупитесь. А сухая ложка рот дерет.

– Ничего бы я не стал скупиться, будь дело путное и верное, – ответил вдруг Митя бесстыдно.

– А не станете, все и будет в лучшем виде, – сказал староста, закуривая, и продолжал как бы несколько обиженно: – Мне не целковый, не подарок ваш дорог, а мне хочется удовольствие вам сделать. Гляну, гляну: скучает барчук! Нет, думаю, этого дела нельзя так оставить. Я своих господ завсегда беру в расчет. Я вот у вас второй год живу, а ни от вас, ни от барыни, слава богу, плохого слова не слышал. Другим, к примеру, что барская скотина? Сыта – хорошо, нет – черт с ней. А у меня того нет. Мне скотина дороже всего. Я и ребятам

говору: мне как хотите, а чтобы у меня скотина сыта была!

Митя уже стал думать, что староста выпивши, но староста вдруг сбросил обиженно-задушевный тон и сказал, вопросительно взглянув на Митю через плечо:

– Да вот чего лучше Аленка? Бабенка ядовитая, молоденькая, муж на шахтах... Только и ей, конечно, надо какой-нибудь пустяк сунуть. Ну, истратите, скажем, на все про все пятерку. Целковый, скажем, ей на угощенье, два – на руки. Ну, мне на табачишко сколько-нибудь...

– За этим дело не станет, – ответил Митя, опять против воли. – Только про какую Аленку ты говоришь?

– Понятно, про лесникову, – сказал староста. – Да ай вы ее не знаете? Невестка нового лесника. Вы ее, думается, в прошлое воскресенье в церкви видели... Я тогда прямо же подумал: вот бы нашему барчуку в самый раз! Всего второй год замужем, ходит чисто...

– Ну и что же, – ответил Митя, усмехаясь, – ну вот и устрой.

– Тогда я, значит, буду стараться, – сказал

староста, берясь за вожжи. – Я, значит, на днях попытаю ее. А вы и сами пока не дремите. Завтра она у нас с девками вал в саду оправлять будет, вот вы и приходите в сад... А книжка эта никогда не уйдет, авось еще в Москве начитаетесь...

И тронул лошадь, и дрожки опять затряслись и запрыгали. Митя крепко держался за подушку и, стараясь не глядеть на красную толстую шею старосты, смотрел вдаль, через деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скате к реке, к речным лугам. Что-то дико неожиданное, нелепое и вместе с тем такое, от чего по всему телу проходило знобящее томление, было уже наполовину сделано. И уже как-то по-иному, чем прежде, торчала перед ним из-за вершин сада и блестела крестом в предвечернем солнце с детства знакомая колокольня.

Девки за удобу звали Митю борзым, он был из той породы людей с черными, как бы постоянно расширенными глазами, у которых почти не растут даже в зрелые годы ни усы, ни борода, — курчавится только нечто редкое и жесткое. Однако на другой день после разговора со старостой он с утра побрился и надел желтую шелковую рубашку, странно и красиво осветившую его изможденное и как бы вдохновенное лицо.

В одиннадцатом часу он медленно, стараясь придать себе немного скупающий, от нечего делать гуляющий вид, пошел в сад.

Вышел он с главного крыльца, обращенного на север. На севере, над крышами каретного сарая и скотного двора и над той частью сада, из-за которой всегда глядела колокольня, стояла аспидная муть. Да и все было тускло, в воздухе парило и пахло из трубы людской. Митя повернул за дом и направился к липовой аллее, глядя на вершины сада и на небо. Из-под неопределенных туч, заходящих за садом, с юго-востока, дуло слабым горячим вет-

ром. Птицы не пели, даже соловьи молчали. Одни пчелы во множестве беззвучно неслись через сад со взятки.

Девки, поправляя вал, работали опять возле ельника, заделывали в валу протоптанные скотиной лазы, заваливали их землей и парным, приятно-вонючим навозом, который работники от времени до времени подвозили со скотного двора через аллею, – аллея вся была усеяна влажными и блестящими шмотами. Девок было штук шесть. Соньки уже не было, – ее таки просватали, и теперь она сидела дома, кое-что готовя к свадьбе. Было несколько совсем еще жиденьких девчонок, была толстая, миловидная Анютка, была Глашка, ставшая как будто еще суровее и мужественнее, – и Аленка. И Митя сразу увидел ее среди деревьев, сразу понял, что это она, хотя прежде никогда не видал ее, и его, как молния, поразило нежданно и резко ударившее ему в глаза что-то общее, что было, – или только почудилось ему, – в Аленке с Катей. Это было так удивительно, что он даже приостановился, на миг оторопел. Потом решительно пошел прямо на нее, не спуская с нее

глаз.

Она была тоже невелика, подвижна. Несмотря на то что она пришла на грязную работу, она была в хорошенькой (белой с красными крапинками) ситцевой кофте, подпоясанной черным лакированным поясом, в такой же юбке, в розовом шелковом платочке, в красных шерстяных чулках и в черных мягких чунях, в которых (или, вернее, во всей ее маленькой легкой ноге) было опять-таки что-то Катино, то есть женское, смешанное с чем-то детским. И головка у нее была невелика и темные глаза стояли и сияли почти так же, как у Кати. Когда Митя подходил, она одна не работала, как бы чувствуя свою некую особенность среди прочих, стояла на валу, поставив правую ногу на вилы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежал под яблоней на своем пиджаке с рваной подкладкой и курил. Митя подошел – он вежливо подвинулся на траву, давая ему место на пиджаке.

– Садитесь, Митрий Палыч, закуряйте, – сказал он дружески и небрежно.

Митя бегло, исподтишка глянул на Ален-

ку, – очень хорошо освещал ее лицо ее розовый платочек, – сел и, опустив глаза, стал закуривать (он много раз за зиму и весну бросал курить, теперь опять закурил). Аленка даже не поклонилась ему, как будто и не заметила его. Староста продолжал говорить ей что-то, чего Митя не понимал, не зная начала разговора. Она смеялась, но как-то так, точно ни ум, ни сердце ее не участвовали в этом смехе. В каждую свою фразу староста пренебрежительно и насмешливо вставлял похабные намеки. Она отвечала ему легко и тоже насмешливо, давая понять, что он в каких-то своих намерениях на кого-то вел себя глупо, чересчур нахрапом, а вместе с тем и трусливо, боясь жены.

– Ну, да тебя не перебрешешь, – сказал наконец староста, прекращая спор, будто бы ввиду его надоевшей бесполезности. – Ты лучше иди посиди с нами. Барин тебе хотят слово сказать.

Аленка повела глазом куда-то в сторону, подоткнула на височках темные колечки волос и не двинулась с места.

– Иди, говорю, дура! – сказал староста.

И, подумав мгновенье, Аленка вдруг легко соскочила с вала, подбежала и на корточках присела в двух шагах от лежавшего на пи-джеке Мити, весело и любопытно смотря в лицо ему темными расширенными глазами. Потом засмеялась и спросила:

– А правда, вы, барчук, с бабами не живете? Как дьячок какой?

– А ты почему знаешь, что не живут? – спросил староста.

– Да уж знаю, – сказала Аленка. – Слышала. Нет, они не могут. У них в Москве есть, – вдруг заиграв глазами, сказала она.

– Подходящих для них нету, вот и не живут, – ответил староста. – Много ты понимаешь в их деле!

– Как нету? – сказала Аленка, смеясь. – Сколько баб, девок! Вон Анютка, – чего лучше? Анютк, поди сюда, дело есть! – крикнула она звонко.

Анютка, широкая и мягкая в спине, короткорукая, обернулась, – лицо у нее было мило-видное, улыбка добрая и приятная, – что-то крикнула в ответ певучим голосом и заработала еще пуще.

– Говорят тебе, поди! – еще звончей повторила Аленка.

– Нечего мне ходить, не научена я этим делам, – пропела Анютка радостно.

– Нам Анютка не нужна, нам надо почище, поблагороднее, – наставительно сказал староста. – Мы сами знаем, кого нам надо.

И очень выразительно посмотрел на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснела.

– Нет, нет, нет, – ответила она, скрывая смущение улыбкой, – лучше Анютки не найдете. А не хотите Анютку, – Настьку, она тоже чисто ходит, в городе жила...

– Ну, будет, молчи, – неожиданно грубо сказал староста. – Занимайся своим делом, побрехала, и будет. Меня и так барыня ругают, говорят, они у тебя только охальничают...

Аленка вскочила – и опять с необыкновенной легкостью – взялась за вилы. Но работник, сваливший в это время последнюю телегу навоза, крикнул: «Завтракать!» – и, задержав вожжами, бойко загремел вниз по аллее пустым тележным ящиком.

– Завтракать, завтракать! – на разные голо-

са закричали и девки, бросая лопаты и вилы, перескакивая через вал, соскакивая с него, мелькая голыми ногами и разноцветными чулками и сбегаясь под ельник к своим узелкам.

Староста покосился на Митю, подмигнул ему, желая сказать, что дело идет, и, приподнимаясь, начальственно согласился:

– Ну, завтракать так завтракать...

Девки, пестрея под темной стеной елок, весело и как попало расселись на траве, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать их на подолы между прямо лежащих ног, стали жевать, запивая из бутылок кто молоком, кто квасом и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь к Анютке, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержав очаровательной улыбки, с силой оттолкнула ее (Аленка, давась смехом, повалилась головой к себе на колени) и с притворным возмущением крикнула на весь ельник своим певучим голосом:

– Дура! Чего гогочешь без дела? Какая ра-

дось?

– Пойдем от греха, Митрий Палыч, – сказал староста, – ишь их черти разбирают!

XXI

На другой день в саду не работали, был праздник, воскресенье.

Ночью лил дождь, мокро шумело по крыше, сад то и дело бледно, но широко, сказочно озарялся. К утру, однако, погода опять разгулялась, опять все стало просто и благополучно, и Митю разбудил веселый, солнечный трезвон колоколов.

Он не спеша умылся, оделся, выпил стакан чаю и пошел к обедне. «Мама уж ушли, – ласково упрекнула его Параша, – а вы как татарин какой...»

В церковь можно было пройти или по выгону, выйдя из ворот усадьбы и свернув направо, или через сад, по главной аллее, а потом по дороге между садом и гумном, налево. Митя пошел через сад.

Все было уже совсем по-летнему. Митя шел по аллее прямо на солнце, сухо блестящее на гумне и в поле. И этот блеск и трезвон коло-

колов, как-то очень хорошо и мирно сливавшийся с ним и со всем этим деревенским утром, и то, что Митя только что вымылся, причесал свои мокрые, глянцеви́тые черные волосы и надел студенческий картуз, все вдруг показалось так хорошо, что Митю, опять не спавшего всю ночь и опять прошедшего ночью через множество самых разнообразных мыслей и чувств, вдруг охватила надежда на какое-то счастливое разрешение всех его терзаний, на спасение, освобождение от них. Колокола играли и звали, гумно впереди жарко блестело, дятел, приостанавливаясь, приподнимая хохолок, быстро бежал вверх по корявому стволу липы в ее светло-зеленую, солнечную вершину, бархатные черно-красные шмели заботливо зарывались в цветы на полянах, на припеке, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно... Все было, как бывало много, много раз в детстве, в отрочестве, и так живо вспомнилось все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдруг явилась уверенность, что Бог милостив, что, может быть, можно прожить на свете и без Кати.

«В самом деле, поеду к Мещерским», – подумал вдруг Митя.

Но тут он поднял глаза – и в двадцати шагах от себя увидал как раз в этот момент проходившую мимо ворот Аленку. Она опять была в шелковом розовом платочке, в голубом нарядном платье с оборками, в новых башмаках с подковками. Она, виляя задом, быстро шла, не видя его, и он порывисто подался в сторону, за деревья.

Дав ей скрыться, он, с бьющимся сердцем, поспешно пошел назад, к дому. Он вдруг понял, что пошел в церковь с тайной целью увидеть ее, и то, что видеть ее в церкви нельзя, не надо.

Во время обеда нарочный со станции привез телеграмму — Аня и Костя извещали, что будут завтра вечером. Митя отнесся к этому совершенно равнодушно.

После обеда он навзничь лежал на плетеном диване на балконе, закрыв глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, слушая летнее жужжанье мух. Сердце дрожало, в голове стоял неразрешимый вопрос: а как же дальше дело с Аленкой? Когда же оно решится окончательно? Почему староста не спросил ее вчера прямо: согласна ли она, и, если да, то где и когда? А рядом с этим мучило другое: следует или нет нарушить свое твердое решение не ездить больше на почту? Не съездить ли нынче еще раз, последний? Новое и бессмысленное издевательство над своим собственным самолюбием? Новое и бессмысленное терзание себя жалкой надеждой? Но что может теперь прибавить эта поездка (в сущности, простая прогулка) к его терзаниям? Разве теперь не совершенно очевидно, что там, в Москве, для него все и навеки кон-

чено? Что ему вообще теперь делать?

– Барчук! – раздался вдруг негромкий голос возле балкона. – Барчук, вы спите?

Он быстро открыл глаза. Перед ним стоял староста в новой ситцевой рубаше, в новом картузе. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмельное.

– Барчук, едемте скорей в лес, – зашептал он. – Я барыне сказал, что мне нужно пови-даться с Трифоном насчет пчел. Едемте скорей, пока они почивают, а то ну-ка проснутся и отдумают... Захватим чего-нибудь угостить Трифона, он захмелеет, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленке. Выходите скорей, я уж запрөг...

Митя вскочил, пробежал лакейскую, схватил картуз и быстро пошел к каретному сараю, где стоял запряженный в беговые дрожки молодой горячий жеребчик.

Жеребчик прямо с места вихрем вынес за ворота. Против церкви на минуту остановились возле лавки, взяли фунт сала и бутылку водки и понеслись дальше.

Мелькнула изба на выезде, у которой стояла наряженная и не знавшая, что делать, Анютка. Староста в шутку, но грубо крикнул ей что-то и с хмельным, бессмысленным и злым удальством крепко передернул вожжами, хлестнул ими по крупу жеребчика. Жеребчик еще надал.

Митя, сидя и подскакивая, держался изо всех сил. В затылок ему приятно пекло, в лицо тепло дуло полевым жаром, пахнувшим уже зацветающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-серой, точно какой-то чудесный мех, зыбью, над ней поминутно взвивались, пели, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синел лес...

Через четверть часа были уже в лесу и все так же шибко, стучаясь о пни и корни, помчались по его тенистой дороге, радостной от

солнечных пятен и несметных цветов в густой и высокой траве по сторонам. Аленка, в своем голубом платье, прямо и ровно положив ноги в полусапожках, сидела в распускающихся возле караулки дубках и вышивала что-то. Староста пролетел мимо нее, погрозив ей кнутом, и сразу осадил у порога. Митю поразил горький и свежий аромат леса, молодой дубовой листвы, оглушил звонкий лай собачонок, окруживших дрожки и наполнивших весь лес откликами. Они стояли и яростно заливались на все лады, а мохнатые морды их были добры и хвосты виляли.

Слезли, привязали жеребчика к сухому, опаленному грозой деревцу под окнами и вошли через темные сени.

В караулке было очень чисто, очень уютно и очень тесно, жарко и от солнца, светившего из-за леса в оба ее окошечка, и оттого, что была натоплена печь, — утром пекли ситники. Федосья, свекровь Аленки, чистенькая и благообразная на вид старушка, сидела за столом, спиной к солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку. Увидав барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровав-

шись, сели и стали закуривать.

– А где ж Трифон? – спросил староста.

– Отдыхает в клети, – сказала Федосья, – я сейчас пойду его покличу.

– Идет дело! – шепнул староста, моргнув обоими глазами, как только она вышла.

Но никакого дела Митя покуда не видел. Покуда было только нестерпимо неловко, – казалось, что Федосья уже отлично понимает, зачем они приехали. Опять мелькала ужасавшая уже третий день мысль: «Что я делаю? Я с ума схожу!» Он чувствовал себя лунатиком, покоренным чьей-то посторонней волей, все быстрее и быстрее идущим к какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти. Но, стараясь иметь простой и спокойный вид, он сидел, курил, осматривал караулку. Особенно стыдно было при мысли, что сейчас войдет Трифон, мужик, как говорят, злой, умный, который сразу все поймет еще лучше Федосьи. Но вместе с тем была и другая мысль: «А где же она спит? Вот на этих нарах или в клети?» Конечно, в клети, подумал он. Летняя ночь в лесу, окошечки в клети без рамы, без стекол, и всю ночь слышен дремотный лесной ше-

ПОТ, а она СПИТ...

XXIV

Трифон, войдя, тоже низко поклонился Мите, но молча, не взглянув ему в глаза. Потом сел на скамейку перед столом и сухо и неприязненно заговорил со старостой: в чем дело, зачем пожаловал? Староста поспешил сказать, что его прислала барыня, что она просит Трифона прийти посмотреть пасеку, что ихний пасечник старый, глухой дурак, а что он, Трифон, может, первый пчеловод во всей губернии по своему уму и понятию, — и немедля вытащил из одного кармана штанов бутылку водки, а из другого сало в шершавой серой бумаге, уже насквозь промаслившейся. Трифон холодно и насмешливо покосился, однако поднялся с места и достал с полки чайную чашку. Староста поднес сперва Мите, потом Трифону, потом Федосье, — она с удовольствием вытянула чашку до доньшка, — и наконец налил себе. Выпив, он тотчас же стал обносить по второй, жуя ситник и раздувая ноздри.

Трифон довольно быстро захмелел, однако

не потерял своей сухости и неприязненной насмешливости. Староста тяжело отупел после второй же чашки. Разговор принял по внешности характер дружеский, но глаза у обоих были недоверчивые, злобные. Федосья сидела молча, смотрела вежливо, но недовольно. Аленка не показывалась. Потеряв всякую надежду, что она придет, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта – рассчитывать теперь на то, что старосте удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла, – Митя поднялся и строго сказал, что пора ехать.

– Сейчас, сейчас, успеется! – хмуро и нагло отозвался староста. – Мне еще надо вам словечко по секрету сказать.

– Ну вот дорогой и скажешь, – сказал сдержанно, но еще строже Митя. – Едем.

Но староста хлопнул ладонью по столу и с пьяной загадочностью повторил:

– А я вам говорю, что дорогой этого нельзя говорить! Выйдите ко мне на минутку...

И, тяжело поднявшись с места, распахнул дверь в сенцы. Митя вышел за ним.

– Ну, в чем дело?

– Молчите! – таинственно прошептал ста-

роста, притворяя за Митей дверь и шатаясь.

– Об чем молчать?

– Молчите!

– Я тебя не понимаю.

– Молчите! Наша будет! Верное слово!

Митя оттолкнул его, вышел из сенец и остановился на пороге, не зная, что делать: подождать еще немного или уехать одному, а не то просто уйти пешком?

В десяти шагах от него стоял густой зеленый лес, уже в вечерней тени и оттого еще более свежий, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за его вершины, сквозь них лучисто сыпалось его червонное золото. И вдруг гулко раздался и прокатился в глубине леса, где-то, как показалось, далеко на той стороне, за оврагами, женский певучий голос, и так призывно, так очаровательно, как звучит он только в лесу, по летней вечерней заре.

– Ау! – протяжно крикнул этот голос, видимо, забавляясь лесными откликами. – Ау!

Митя соскочил с порога и побежал по цветам и травам в лес. Лес спускался в каменистый овраг. В овраге стояла и ела баранчики

Аленка. Митя надбежал над обрыв и остановился. Она снизу глянула на него удивленными глазами.

– Что ты тут делаешь? – спросил Митя негромко.

– Маруську нашу с коровой ищу. А что? – ответила она тоже негромко.

– Что ж, придешь, что ли?

– Что ж мне даром ходить? – сказала она.

– Кто ж тебе сказал, что даром? – спросил Митя уже почти шепотом. – Об этом не беспокойся.

– А когда? – спросила Аленка.

– Да завтра... Ты когда можешь?

Аленка подумала.

– Я завтра пойду к матери овцу стричь, – сказала она, помолчав, осторожно оглядывая лес на бугре за Митей. – Вечером, как стемнеет, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдет кто-нибудь... Хотите, в салаш в лощине у вас в саду? Только вы смотрите, не обманите, – даром я не согласна... Это вам не Москва, – сказала она, засмеявшись глазами глядя на него снизу, – там, говорят, бабы сами плотят...

Возвращались безобразно.

Трифон не остался в долгу, поставил и с своей стороны бутылку, и староста так напился, что не сразу сел на дрожки, сперва упал на них, а испуганный жеребчик рванулся и чуть не ускакал один. Но Митя молчал, смотрел на старосту бесчувственно, ждал, пока он усядется, терпеливо. Староста опять гнал с нелепой яростью. Митя молчал, крепко держался, смотрел на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшие и прыгавшие перед ним. Над полями к закату допевали свои кроткие песни жаворонки, на востоке, уже посиневшем к ночи, вспыхивали те дальние, мирные зарницы, которые ничего не обещают, кроме хорошей погоды. Митя понимал всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была совсем чужой ему. В мыслях, в душе стояло одно: завтра вечером!

Дома его ожидало известие, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будут завтра, с вечерним поездом. Он ужаснулся, – приедут, побегут вечером в сад, могут по-

бежать к шалашу, в лощину... Но тотчас же вспомнил, что со станции их привезут не раньше десятого часа, потом будут кормить, поить чаем...

– Ты поедешь встречать? – спросила Ольга Петровна. Он почувствовал, что бледнеет.

– Нет, не думаю... Мне что-то не хочется... Да и сесть негде...

– Ну, положим, ты бы мог верхом поехать...

– Да нет, не знаю... Собственно, зачем? Сейчас, по крайней мере, не хочется...

Ольга Петровна пристально посмотрела на него.

– Ты здоров?

– Совершенно, – сказал Митя почти грубо. – Я только спать очень хочу...

И тотчас же ушел к себе, лег в темноте на диван и заснул, не раздеваясь.

Ночью он услышал отдаленную, медлительную музыку и увидел себя висящим над огромной, слабо освещенной пропастью. Она все светлела и светлела, становилась все бездоннее, все золотистой, все ярче, все многочисленнее, и уже совсем отчетливо, с несказанной грустью и нежностью, зазвучало и запело

в ней: «Жил-был в Фуле добрый король...» Он затрепетал от умиления, повернулся на другой бок и опять заснул.

XXVI

День казался бесконечным.

Митя как деревянный выходил к чаю, к обеду, потом опять шел к себе и опять ложился, брал с письменного стола уже давно валявшийся на нем том Писемского, читал, не понимая ни слова, подолгу смотрел в потолок, слушал ровный, летний, атласный шум солнечного сада за окном... Раз он встал и пошел в библиотеку, чтобы переменить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своим спокойствием, видом из одного окна на заветный клен, а из других на светлое западное небо комната так остро напомнила ему те весенние (теперь уже бесконечно далекие) дни, когда он сидел в ней, читая стихи в старых журналах, и показалась такой Катиной, что он повернулся и быстро пошел назад. «К черту! – подумал он с раздражением. – К черту весь этот поэтический трагизм любви!»

Он с возмущением вспомнил свое намере-

ние застрелиться, если не будет письма от Кати, и опять лег и опять взялся за Писемского. Но по-прежнему он ничего не понимал, читая, а порою, глядя в книгу и думая об Аленке, весь начинал дрожать от все растущей дрожи в животе. И чем ближе подходил вечер, тем все чаще охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворе, – уже запрягли тарантас на станцию, – все раздавалось так, как во время болезни, когда лежишь один, а вокруг течет обычная, будничная жизнь, равнодушная к тебе и потому чуждая, даже враждебная. Наконец где-то крикнула Параша: «Барыня, лошади готовы!» – послышалось сухое бормотание бубенчиков, потом топот копыт, шорох подкатывающего к крыльцу тарантаса... «Ах, да когда же все это кончится!» – пробормотал Митя вне себя от нетерпения, не двигаясь, но жадно слушая голос Ольги Петровны, отдававшей в лакейской последние приказания. Вдруг бубенчики забормотали и, бормоча все слитнее под звуки покотившегося под гору экипажа, стали глоснуть...

Быстро встав с места, Митя вышел в зал. В

зале было пусто и светло от ясного желтоватого заката. Во всем доме было пусто и как-то странно, страшно пусто! Со странным, как бы прощальным чувством Митя взглянул в пролет растворенных молчаливых комнат – в гостиную, в диванную, в библиотеку, в окно которой по-вечернему синел южный небосклон, зеленела живописная вершина клена и розовой точкой стоял над ней Антарес... Потом взглянул в лакейскую, нет ли там Параши. Убедившись, что и там пусто, он схватил с вешалки картуз, пробежал назад, в свою комнату, и выскочил в окно, далеко выкинув на цветник свои длинные ноги. На цветнике он на мгновение замер, потом, согнувшись, перебежал в сад и тотчас же вильнул в глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акации и сирени.

XXVII

Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечернего сада. Но Мите, при всей бессознательности всех его действий в этот вечер, все же показалось, что он еще никогда в жизни, – за исключением, может быть, раннего детства, – не встречал такой силы и такого разнообразия запахов, как теперь. Все пахло – кусты акации, листья сирени, листья смородины, лопухи, чернобыльник, цветы, трава, земля...

Быстро сделав несколько шагов с жуткой мыслью: «А вдруг она обманет, не придет?» – теперь казалось, что вся жизнь зависит от того, придет или не придет Аленка, – уловив среди запахов растительности еще и запах вечернего дыма откуда-то с деревни, Митя еще раз остановился, обернулся на мгновение: вечерний жук медленно плыл и гудел где-то возле него, точно сея тишину, успокоение и сумерки, но еще светло было от зари, охватившей полнеба своим ровным, долго не гаснущим светом первых летних зорь, а над крышей дома, кое-где видной из-за деревьев,

высоко блестел в прозрачной небесной пустоте крутой и острый серпок только что народившегося месяца. Митя глянул на него, быстро и мелко перекрестился под ложечкой и шагнул в кусты акации. Аллея вела в лощину, но не к шалашу, – к нему надо было идти наискось, взять левее. И Митя, шагнув через кусты, побежал целиком, среди широко и низко распростертых ветвей, то нагибаясь, то отстраняя их от себя. Через минуту он уже был на условленном месте.

Он со страхом сунулся в шалаш, в его темноту, пахнущую сухой прелой соломой, зорко оглянул его и почти с радостью убедился, что там еще никого нет. Но роковой миг близился, и он стал возле шалаша, весь превратясь в чуткость, в напряженнейшее внимание. Весь день почти ни на минуту не оставляло его необыкновенное телесное возбуждение. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно – как днем, так и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владело только телом, не захватывая души. Сердце, однако, билось страшно. А кругом было так поразительно тихо, что он слышал только од-

но – это биение. Беззвучно, неустанно вились, крутились мягкие бесцветные мотыльки в ветвях, в серой листве яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернем небе, и от этих мотыльков тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и завораживали ее. Вдруг где-то сзади него что-то хрустнуло – и звук этот как гром поразил его. Он порывисто обернулся, глянул меж деревьев по направлению к валу – и увидел, что под сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успел он сообразить, что это такое, как это темное, набежав на него, сделало какое-то широкое движение – и оказалось Аленкой.

Она откинула, сбросила с головы подол короткой юбки из черной самотканой шерсти, и он увидел ее испуганное и сияющее улыбкой лицо. Она была боса, в одной юбке и в простой суровой рубахе, заправленной в юбку. Под рубахой стояли ее девичьи груди. Широко вырезанный ворот открывал ее шею и часть плечей, а засученные выше локтя рукава – округлые руки. И все в ней, от небольшой головки, покрытой желтым платочком, и до

маленьких босых ног, женских и вместе с тем детских, было так хорошо, так ловко, так пленительно, что Митя, видевший ее до сих пор только наряженной, впервые увидавший ее во всей прелести этой простоты, внутренне ахнул.

– Ну, скорее, что ли, – весело и воровски прошептала она, и, оглянувшись, нырнула в шалаш, в его пахучий сумрак.

Там она приостановилась, а Митя, стиснув зубы, чтобы удержать их стук, поспешил запустить руку в карман – ноги его были напряжены, тверды, как железо, – и сунул ей в ладонь смятую пятирублевку. Она быстро спрятала ее за пазуху и села на землю. Митя сел возле нее и обнял ее за шею, не зная, что делать, – надо ли целовать или нет. Запах ее платка, волос, луковый запах всего ее тела, смешанный с запахом избы, дыма, – все было до головокружения хорошо, и Митя понимал, чувствовал это. И все-таки было все то же, что и раньше: страшная сила телесного желания, не переходящая в желание душевное, в блаженство, в восторг, в истому всего существа. Она откинулась и легла навзничь. Он лег ря-

дом, привалился к ней, протянул руку. Тихо и нервно смеясь, она поймала ее и потянула вниз.

– Никак нельзя, – сказала она не то в шутку, не то серьезно.

Она отвела его руку и цепко держала ее своей маленькой рукой, глаза ее смотрели в треугольную раму шалаша на ветви яблонь, на уже потемневшее синее небо за этими ветвями и неподвижную красную точку Антареса, еще одиноко стоящую в нем. Что выражали эти глаза? Что надо было делать? Поцеловать в шею, в губы? Вдруг она поспешно сказала, берясь за свою короткую черную юбку:

– Ну, скорей, что ли...

Когда они поднялись, – Митя поднялся, совершенно пораженный разочарованием, – она, перекрывая платок, поправляя волосы, спросила оживленным шепотом, – уже как близкий человек, как любовница:

– Вы, говорят, в Субботино ездили. Там по дешеву поросят продает. Правда ай нет? Вы не слышали?

XXVIII

На этой же неделе, в субботу, дождь, начавшийся еще в среду, ливший с утра и до вечера, лил как из ведра.

Он то и дело припускал в этот день особенно бурно и мрачно.

И весь день Митя без устали ходил по саду и весь день так страшно плакал, что порой даже сам дивился силе и обилию своих слез.

Параша искала его, кричала на дворе, в липовой аллее, звала обедать, потом чай пить – он не откликался.

Было холодно, пронзительно сыро, темно от туч; на их черноте густая зелень мокрого сада выделялась особенно густо, свежо и ярко. Налетавший от времени до времени ветер свергал с деревьев еще и другой ливень – целый поток брызг. Но Митя ничего не видел, ни на что не обращал внимания. Его белый картуз обвис, стал темно-серый, студенческая куртка почернела, голенища были до колен в грязи. Весь облитый, весь насквозь промокший, без единой кровинки в лице, с заплаканными, безумными глазами, он был стра-

шен.

Он курил папиросу за папиросой, широко шагал по грязи аллей, а порой просто куда попало, целиком, по высокой мокрой траве среди яблонь и груш, натыкаясь на их кривые корявые сучья, пестревшие серо-зеленым размокшим лишайником. Он сидел на разбухших, почерневших скамейках, уходил в лощину, лежал на сырой соломе в шалаше, на том самом месте, где лежал с Аленкой. От холода, от ледяной сырости воздуха большие руки его посинели, губы стали лиловыми, смертельно-бледное лицо с провалившимися щеками приняло фиолетовый оттенок. Он лежал на спине, положив нога на ногу, а руки под голову, дико уставившись в черную соломенную крышу, с которой падали крупные ржавые капли. Потом скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Он порывисто вскакивал, вытаскивал из кармана штанов уже сто раз прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечером, – привез землемер, по делу приехавший в усадьбу на несколько дней, – и опять, в сто первый раз, жадно пожирал его:

«Дорогой Митя, не поминайте лихом, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна вас, но я безумно люблю искусство! Я решилась, жребий брошен, я уезжаю – вы знаете, с кем... Вы чуткий, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мне ничего, это бесполезно!»

Дойдя до этого места, Митя комкал письмо и, уткнувшись лицом в мокрую солому, бешено стискивая зубы, захлебывался от рыданий. Это нечаянное ты, которое так страшно напоминало и даже как будто опять восстанавливало их близость и заливало сердце нестерпимой нежностью, – это было выше человеческих сил! А рядом с этим ты – это твердое заявление, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, он это знал: бесполезно! Все кончено и кончено навеки!

Перед вечером дождь, обрушившийся на сад с удесятеренной силой и с неожиданными ударами грома, погнал его наконец в дом. Мокрый с головы до ног, не попадая зуб на зуб от ледяной дрожи во всем теле, он выглянул из-под деревьев и, убедившись, что его

никто не видит, пробежал под свое окно, снаружи приподнял раму, – рама была старинная, с подъемной половиной – и, вскочив в комнату, запер двери на ключ и бросился на кровать.

И стало быстро темнеть. Дождь шумел повсюду – и по крыше, и вокруг дома, и в саду. Шум его был двойной, разный, – в саду один, возле дома, под непрерывное журчание и плеск желобов, ливших воду в лужи, – другой. И это создавало для Мити, мгновенно впавшего в летаргическое оцепенение, необъяснимую тревогу и вместе с жаром, которым пылали его ноздри, его дыхание, голова, погружало его точно в наркоз, создавало какой-то как будто другой мир, какое-то другое предвечернее время в каком-то как будто чужом, другом доме, в котором было ужасное предчувствие чего-то.

Он знал, он чувствовал, что он в своей комнате, уже почти темной от дождя и наступающего вечера, что там, в зале, за чайным столом, слышны голоса мамы, Ани, Кости и землемера, но вместе с тем уже шел по какому-то чужому дому вслед за уходившей от него мо-

лодой нянькой, и его охватывал необъяснимый, все растущий ужас, смешанный, однако, с вождедением, с предчувствием близости кого-то с кем-то, близости, в которой было что-то противоестественно-омерзительное, но в которой он и сам как-то участвовал. Чувствовалось же все это через посредство ребенка с большим белым лицом, которого, перегнувшись назад, несла на руках и укачивала молоденькая нянька. Митя спешил обогнать ее, обогнал и уже хотел заглянуть ей в лицо, – не Аленка ли это, – но неожиданно очутился в сумрачной гимназической классной комнате с замазанными мелом стеклами. Та, что стояла в ней перед комодом, перед зеркалом, не могла его видеть, – он вдруг стал невидим. Она была в шелковой желтой нижней юбке, плотно облегающей округлые бедра, в туфельках на высоких каблучках, в тонких ажурных черных чулках, сквозь которые просвечивало тело, и она, сладко робея и стыдясь, знала, что сейчас будет. Она уже успела спрятать ребенка в ящик комода. Перекинув косу через плечо, она быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядела в зеркало, где отра-

жалось ее припудренное личико, обнаженные плечи и млечно-голубые, с розовыми сосками, маленькие груди. Дверь распахнулась – и, бодро и жутко оглядываясь, вошел господин в смокинге, с бескровным бритым лицом, черными и короткими курчавыми волосами. Он вынул плоский золотой портсигар, стал развязно закуривать. Она, доплетая косу, робко смотрела на него, зная его цель, потом швырнула косу на плечо, подняла голые руки... Он снисходительно обнял ее за талию – и она охватила его шею, показывая свои темные подмышки, прильнула к нему, спрятала лицо на его груди...

И Митя очнулся, весь в поту, с потрясающе ясным сознанием, что он погиб, что в мире так чудовищно безнадежно и мрачно, как не может быть и в преисподней, за могилой. В комнате была тьма, за окнами шумело и плескалось, и этот шум и плеск были нестерпимы (даже одним своим звуком) для тела, сплошь дрожащего от озноба. Всего же нестерпимее и ужаснее была чудовищная противоестественность человеческого соития, которое как будто и он только что разделил с бритым господином. Из залы были слышны голоса и смех. И они были ужасны и противоестественны своей отчужденностью от него, грубостью жизни, ее равнодушием, беспощадностью к нему...

– Катя! – сказал он, садясь на кровати, сбрасывая с нее ноги. – Катя, что же это такое! – сказал он вслух, совершенно уверенный, что она слышит его, что она здесь, что она молчит, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимает непоправимый ужас всего того, что она наделала. – Ах, все

равно, Катя, – прошептал он горько и нежно, желая сказать, что он простит ей все, лишь бы она по-прежнему кинулась к нему, чтобы они вместе могли спастись, – спасти свою прекрасную любовь в том прекраснейшем весеннем мире, который еще так недавно был подобен раю. Но, прошептав: «Ах, все равно, Катя!» – он тотчас же понял, что нет, не все равно, что спасения, возврата к тому дивному видению, что дано было ему когда-то в Шаховском, на балконе, заросшем жасмином, уже нет, не может быть, и тихо заплакал от боли, раздирающей его грудь.

Она, эта боль, была так сильна, так нестерпима, что, не думая, что он делает, не сознавая, что из всего этого выйдет, страстно желая только одного – хоть на минуту избавиться от нее и не попасть опять в тот ужасный мир, где он провел весь день и где он только что был в самом ужасном и отвратном из всех земных снов, он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.

*Приморские Альпы.
14 сентября 1924*

Осенью

I

В гостинной наступило на минуту молчание, и, воспользовавшись этим, она встала с места и как бы мельком взглянула на меня.

– Ну, мне пора, – сказала она с легким вздохом, и у меня дрогнуло сердце от предчувствия какой-то большой радости и тайны между нами.

Я не отходил от нее весь вечер и весь вечер ловил в ее глазах затаенный блеск, рассеянность и едва заметную, но какую-то новую ласковость. Теперь в тоне, каким она как бы с сожалением сказала, что ей пора уходить, мне почудился скрытый смысл, – то, что она знала, что я выйду с нею.

– Вы тоже? – полуутвердительно спросила она. – Значит, вы проводите меня, – прибавила она вскользь и, слегка не выдержав роли, улыбнулась, оглядываясь.

Стройная и гибкая, она легким и привычным движением руки захватила юбку черно-

го платья. И в этой улыбке, в молодом изящном лице, в черных глазах и волосах, даже, казалось, в тонкой нитке жемчуга на шее и блеске брильянтов в серьгах – во всем была застенчивость девушки, которая любит впервые. И пока ее просили передать поклоны ее мужу, а потом помогали ей в прихожей одеваться, я считал секунды, боясь, что кто-нибудь выйдет с нами.

Но вот дверь, из которой на мгновение упала в темный двор полоса света, мягко захлопнулась. Подавляя нервную дрожь и чувствуя во всем теле необычную легкость, я взял ее руку и заботливо стал сводить с крыльца.

– Вы хорошо видите? – спросила она, глядя под ноги.

И в голосе ее опять послышалась поощряющая приветливость.

Я, наступая на лужи и листья, наугад повел ее по двору, мимо обнаженных акаций и укусных деревьев, которые гулко и упруго, как корабельные снасти, гудели под влажным и сильным ветром южной ноябрьской ночи.

За решетчатыми воротами светился фо-

нарь экипажа. Я взглянул ей в лицо. Не отвечая, она взяла своей маленькой, узкой от перчатки рукой железный прут ворот и без моей помощи откинула половину их в сторону. Поспешно прошла она к экипажу и села в него, так же быстро сел и я рядом с нею...

II

Мы долго не могли сказать ни слова. То, что тайно волновало нас последний месяц, было теперь сказано без слов, и мы молчали только потому, что сказали это слишком ясно и неожиданно. Я прижал ее руку к своим губам и, взволнованный, отвернулся и стал пристально глядеть в сумрачную даль бегущей навстречу нам улицы. Я еще боялся ее, и когда на мой вопрос, – не холодно ли ей, – она только со слабой улыбкой шевельнула губами, не в силах ответить, я понял, что и она боится меня. Но на пожатие руки она ответила благодарно и крепко.

Южный ветер шумел в деревьях на бульварах, колебал пламя редких газовых фонарей на перекрестках и скрипел вывесками над дверями запертых лавок. Иногда какая-ни-

будь сторбленная фигура выростала вместе с своею шаткою тенью под большим качающимся фонарем таверны, но исчезал фонарь за нами – и опять на улице было пусто, и только сырой ветер мягко и непрерывно бил по лицам. Из-под колес брызгами сыпалась в разные стороны грязь, и она, казалось, с интересом следила за ними. Я взглядывал иногда на ее опущенные ресницы и склоненный под шляпой профиль, чувствовал всю ее так близко от себя, слышал тонкий запах ее волос, и меня волновал даже гладкий и нежный мех соболя на ее шее...

Потом мы свернули на широкую, пустую и длинную улицу, казавшуюся бесконечной, миновали старые еврейские ряды и базар, и мостовая сразу оборвалась под нами. От толчка на новом повороте она покачнулася, и я невольно обнял ее. Она взглянула вперед, потом обернулась ко мне. Мы встретились лицом к лицу, в ее глазах не было больше ни страха, ни колебания, – легкая застенчивость сквозила только в напряженной улыбке, – и тогда я, не сознавая, что делаю, на мгновение крепко прильнул к ее губам...

III

В темноте мелькали высокие силуэты телеграфных столбов вдоль дороги, – наконец пропали и они, свернули куда-то в сторону и скрылись. Небо, которое над городом было черно и все-таки отделялось от его слабо освещенных улиц, совершенно слилось здесь с землей, и нас окружил ветренный мрак. Я оглянулся назад. Огни города тоже исчезали, – они были рассыпаны точно где-то в темном море, – а впереди мерцал только один огонек, такой одинокий и отдаленный, точно он был на краю света. То была старая молдавнская корчма на большой дороге, и оттуда несло сильным ветром, который путался и торопливо шуршал в иссохших стеблях кукурузы.

– Куда мы едем? – спросила она, сдерживая дрожь в голосе.

Но глаза ее блестели, – наклонившись к ней, я различал их в темноте, – и в них было странное и вместе с тем счастливое выражение.

Ветер торопливо шуршал и бежал, путаясь

в кукурузе, лошади быстро неслись ему навстречу. Снова куда-то мы свернули, и ветер сразу изменился, стал влажнее и прохладнее и еще беспокойней заметался вокруг нас.

Я полной грудью вдыхал его. Мне хотелось, чтобы все темное, слепое и непонятное, что было в этой ночи, было еще непонятнее и смелее. Ночь, которая казалась в городе обычной ненастной ночью, была здесь, в поле, совсем иная. В ее темноте и ветре было теперь что-то большое и властное, – и вот наконец послышался сквозь шорох бурьянов какой-то ровный, однообразный, величавый шум.

– Море? – спросила она.

– Море, – сказал я. – Это уже последние дачи.

А в побледневшей темноте, к которой мы пригляделись, выростали влево от нас огромные и угрюмые силуэты тополей в дачных садах, спускавшихся к морю. Шорох колес и топот копыт по грязи, отдаваясь от садовых оград, на минуту стал явственнее, но скоро их заглушил приближающийся гул деревьев, в которых метался ветер, и шум моря. Промелькнуло несколько наглухо забитых домов,

смутно белевших в темноте и казавшихся мертвыми... Потом тополи расступились, и внезапно в пролет между ними пахнуло влажностью – тем ветром, который прилетает к земле с огромных водяных пространств и кажется их свежим дыханием.

Лошади остановились.

И тотчас же ровный и величавый ропот, в котором чувствовалась огромная тяжесть воды, и беспорядочный гул деревьев в беспокойно дремавших садах стали слышнее, и мы быстро пошли по листьям и лужам, по какой-то высокой аллее, к обрывам.

IV

Море гудело под ними грозно, выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной ночи. Огромное, теряющееся в пространстве, оно лежало глубоко внизу, далеко белея сквозь сумрак бегущими к земле гривами пены. Страшен был и беспорядочный гул старых тополей за оградой сада, мрачным островом выраставшего на скалистом побережье. Чувствовалось, что в этом безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом и раскрытые беседки по углам ограды были жутки своей заброшенностью. Одно море гудело ровно, победно и, казалось, все величавее в сознании своей силы. Влажный ветер валил с ног на обрыве, и мы долго не в состоянии были насытиться его мягкой, до глубины души проникающей свежестью. Потом, скользя по мокрым глинистым тропинкам и остаткам деревянных лестниц, мы стали спускаться вниз, к сверкающему пеной прибою. Ступив на гравий, мы тотчас же отскочили в сторону от волны, разбившейся о камни. Вы-

сились и гудели черные тополи, а под ними, как бы в ответ им, жадным и бешеным прибоем играло море. Высокие, долетающие до нас волны с грохотом пушечных выстрелов рушились на берег, крутились и сверкали целыми водопадами снежной пены, рыли песок и камни и, убегая назад, увлекали спутанные водоросли, ил и гравий, который гремел и скрежетал в их влажном шуме. И весь воздух был полон тонкой, прохладной пылью, все вокруг дышало вольной свежестью моря. Темнота бледнела, и море уже ясно видно было на далекое пространство.

– И мы одни! – сказала она, закрывая глаза.

Мы были одни. Я целовал ее губы, упиваясь их нежностью и влажностью, целовал глаза, которые она подставляла мне, прикрывая их с улыбкой, целовал похолодевшее от морского ветра лицо, а когда она села на камень, стал перед нею на колени, обессиленный радостью.

– А завтра? – говорила она над моей головой.

И я поднимал голову и смотрел ей в лицо. За мною жадно бушевало море, над нами высились и гудели тополи...

– Что завтра? – повторил я ее вопрос и почувствовал, как у меня дрогнул голос от слез непобедимого счастья. – Что завтра?

Она долго не отвечала мне, потом протянула мне руку, и я стал снимать перчатку, целуя и руку и перчатку и наслаждаясь их тонким, женственным запахом.

– Да! – сказала она медленно, и я близко видел в звездном свете ее бледное и счастливое лицо. – Когда я была девушкой, я без конца мечтала о счастье, но все оказалось так

скучно и обыденно, что теперь эта, может быть, единственная счастливая ночь в моей жизни кажется мне непохожей на действительность и преступной. Завтра я с ужасом вспомню эту ночь, но теперь мне все равно... Я люблю тебя, – говорила она нежно, тихо и вдумчиво, как бы говоря только для самой себя.

Редкие, голубоватые звезды мелькали между тучами над нами, и небо понемногу расчищалось, и тополи на обрывах чернели резче, и море все более отделялось от далеких горизонтов. Была ли она лучше других, которых я любил, я не знаю, но в эту ночь она была несравненной. И когда я целовал платье на ее коленях, а она тихо смеялась сквозь слезы и обнимала мою голову, я смотрел на нее с восторгом безумия, и в тонком звездном свете ее бледное, счастливое и усталое лицо казалось мне лицом бессмертной.

Маленький роман

I

В этот вечер мы встретились на станции. Она кого-то ждала и была рассеянна.

Поезд пришел и затопил платформу народом. Пахло лесом после дождя, каменным углем. Знакомых было так много, что мы едва успевали раскланиваться. Но того, кого она тревожно искала глазами, не было.

Поезд тронулся, и она остановилась, глядя широко раскрытыми синими глазами на мелькающие вдоль платформы вагоны. В окнах, на площадках – всюду были лица, лица. Но того лица, что было нужно, не было.

Наконец стена вагонов оборвалась, мелькнул задний буфер, поезд стал уменьшаться, сокращаться в пролете между зелеными лесами. На опустевшей платформе тонко блестели длинные полосы дождевой воды, голубой от неба.

Платформа была в тени, – солнце скрылось за ее навесом, сзади нас, но дачи в лесу, на-

против, были еще озарены и весело горели стеклами. Где-то страстно и отчаянно, в нос, заливался граммофон; где-то щелкали шары крокета и раздавались мальчишеские крики... Даже не взглянув на меня, она коротко сказала: «Пройдемтесь немного», – и я пошел.

За станцией в глаза ударило яркое вечернее солнце, но дальше стоял тенистый лес. И мы долго шли его прохладной просекой, по корням и утоптаным, упругим тропинкам, возле грязной дороги, среди зеленых лимов, осин и густого орешника, задевавшего нас бархатистой листвой. Она шла впереди, и я глядел на ее юбку, подолом которой она обвиняла себе ноги, на клетчатую кофточку, на тяжелый узел ее кос. Она ловко выбирала места посуше, наклоняясь от веток.

– О чем вы думаете? – спросила она раз, не оборачиваясь.

– О ваших ботинках, – сказал я. – О том, что они не на французских каблуках. Не верю женщинам на французских каблуках.

– А мне верите?

– Верю...

Но вот просека кончилась, мы очутились

на солнце, на открытом зеленом бугре, и она остановилась и обернулась.

– Какой вы милый! – сказала она. – Идет себе и молчит... У меня неожиданный прилив нежности к вам.

Я ответил сдержанно:

– Спасибо. Это в горе бывает.

Она широко раскрыла глаза.

– В горе? В каком горе?

– Но ведь я знаю, что вы кого-то напрасно ждали. Знаю и то, что сейчас вы предложите мне догонять вас.

– Угадали. Хотите?

Я подошел к ней и, взяв за руки, слегка притянул к себе. Она отклонилась.

– Нет, – пробормотала она. – Нет... Ради бога...

И, помолчав, ловким движением выдернула руки, подхватила юбки и побежала с бугра в разлужье.

Направо и налево были овраги, заросшие лесом, впереди – широкая лощина, покрытая рядами скошенного сена, почти вся в тени. Сбежав в разлужье, она остановилась на границе этой тени, в блеске низкого солнца. Но,

подпустив меня на шаг, прыгнула через канаву и пустилась по лощине. Я прыгнул за нею – и вдруг с неба посыпался легкий, быстрый, сухой шорох, а на взгорье налево пала легкая, чуть дымящаяся радуга.

– Дождь! – звонко крикнула она и еще быстрее побежала по сверкавшему под ливнем луку.

Половина его, еще озаренная солнцем, дрожала и сияла в стеклянной, переливающейся золотом сети, – редкий крупный дождь сыпался торопливо и шумно. Видно было, как длинными иглами неслись с веселого голубого неба, из высокой дымчатой тучки, капли... Потом они замелькали реже, радуга на взгорье стала меркнуть – и шорох сразу замер.

Добежав до стога, она упала в него и засмеялась. Грудь ее дышала порывисто, в волосах мерцали капельки.

– Попробуйте, как бьется сердце, – сказала она, взяв мою руку.

Я обнял ее, наклонился к ее полуоткрытым губам. Она не сопротивлялась.

Потом тихо отстранила меня и отвернула от меня зардевшееся лицо. Она перекусывала

сухой стебелек и блестящими глазами рассеянно смотрела вдаль.

– Это первый и последний раз, – сказала она. – Хорошо?

– Хорошо, – ответил я.

Она пристально посмотрела на меня.

– А вы хоть немножко любите меня? Мне так хорошо с вами, я так счастлива! И не ревнуете меня ни к кому... То, что я ждала кого-то, право, не имеет ни малейшего отношения к нам... Ну да, он уже и официально мой жених, и скоро я стану графиней Эль-Маммуна... Почему? Не знаю... Просто потому, что я его боюсь...

Она протянула мне руки с намерением подняться. Я поцеловал сперва одну, потом другую.

– А теперь пойдём, – сказала она.

– Куда?

– Ещё немного по лугу...

Я поднял ее – и она мельком, застенчиво улыбнулась. Потом милыми женскими движениями поправила волосы, глубоко вздохнула свежестью луга... В лесу, то там, то здесь, глухо куковала кукушка, оттеняя глубину и

звучность его после дождя, высоко в небе плыли и таяли теплые дымчатые облака с золотисто-алыми краями...

А на обратном пути мы заблудились. Однако она быстро сообразила, что где. И уверенно повела меня.

Тут, уступая моей просьбе, кратко, намеками, волнуясь, она рассказала мне свою историю. Кончив, она долго шла молча.

В лесу стояли северные сумерки. А лес, молчаливый, темный, тянулся на много верст вокруг. И весь этот лесной край был погружен теперь в грустное и спокойное ожидание ночи. Зыбкий полусвет таял, задремывал. Мелкое болотистое озеро, по берегу которого мы пробирались, еще белело меж деревьев. Но и оно было тускло и печально, как в лесу. Надвинулись тучи, сливаясь с темнотою леса. И все цепенел теплый сонный воздух, наполненный пряным ароматом болотных трав и хвои. Светляки золотистыми изумрудами тлели под кустами, задремывающими под таинственный шепот кузнечиков... Чтобы сократить путь, мы повернули от озера в длинный и широкий коридор вековых сосен. И, уже с

трудом различая дорогу, пошли по глубокому песку к поляне, как вдруг что-то зашуршало в сухой перепутанной хвое и оттуда колом вынырнула большая головастая сова. Она метнулась на нас – я даже успел разглядеть ее серые штаники – и взвилась на своих широких круглых крыльях. Она отшатнулась и стала. А сова, беззвучно описав дугу, снова пала вниз и плавно потонула в чаще ветвей, во мраке.

– Не к добру, – сказала она, покачав головой.

Я улыбнулся.

– Уверяю вас, не к добру, – повторила она просто и настойчиво.

– Что же будет?

– Ах, я не знаю! Впрочем, мне все равно. Эти дни с вами и особенно этот вечер я никогда не забуду. Дайте я на прощанье...

Не договорив, она обняла меня, грустно и нежно посмотрела в лицо, подумала и поцеловала один глаз, другой... И мы пошли через поляну на зеленый огонек семафора, мерцавший за деревьями. Совсем стемнело; тихо зашептался с лесом дождь. А когда мы вбежали на балкон дачи, под парусиновый навес, к

чайному столу, освещенному свечами в колпачках, дождь уже лил как из ведра.

Мы отряхивались и притворно рассказывали, как мы заблудились, как искали дорогу. И вдруг смолкли: из темного угла балкона, с качалки, поднялся непомерно высокий, худой и широкоплечий человек лет тридцати, с голым черепом, чудесной черной бородой и блестящими глазами. Старики смутились, она побледнела. Я пожал его большую руку и шутливо сказал:

– Боже, какой вы высокий! Из вас вышел бы отличный средневековый латник.

– Да? – живо спросил он. – Что ж, могло быть. Меня зовут граф Маммуна...

Мне отыскивали старый огромный зонт, давали советов, где лучше пройти, и я спустился с мокрых ступеней балкона в непроглядную тьму.

Она стояла на пороге, в светлом треугольнике парусинового шатра. Когда я добрался до калитки, она, не повышая голоса, сказала:

– Прощайте.

И это было последнее слово, слышанное мною от нее.

«Дорогой мой, – писала она мне через четыре месяца после этого, – не вините меня, что я исчезла, даже не предупредив вас. Он был в тысячу раз сильнее меня. Я потеряла волю, упустила страшный момент, когда еще можно было все порвать. Теперь у меня нет уже почти никаких надежд на встречу с вами. Да и как бы мы встретились? Мне кажется, я нисколько, нисколько не обманываю себя насчет вашего чувства. Для вас это был неожиданный и *маленький роман*, только и всего. Но все равно: клянусь вам, – если я кого-нибудь любила за всю свою жизнь, то это вас...

Что такое эта мириады раз воспетая людьми любовь? Может быть, дело-то и не в самой любви. В письмах одного умершего писателя я недавно прочла: «Любовь – это когда хочется того, чего нет и не бывает». Да, да, никогда не бывает. Но все равно. Я вас любила и люблю...

Вспоминаю вас чаще всего в сумерки. В сумерки мы простились, в сумерки и пишу я

вам это первое и, верно, последнее письмо. А пишу бог знает откуда: из Альп, из ледяного, пустого отеля за облаками, в октябрьский вечер. У него начинается чахотка, и я бессовестно издеваюсь над его жизнью. Я не только держу его в Альпах в самую нелепую пору – я еще таскаю его в самые скверные туманные дни по озерам, в горы. Теперь он покорен мне.

Он молчит по целым дням, блестит глазами, но покорен. Молча шел и нынче. Когда мы вошли сюда, прислуга отеля, доживающая здесь последние дни простой крестьянской жизнью в кухне, ахнула от изумления: вот так гости! Но, может быть, и потому, что он был бледен и огромен, как смерть.

А пошла я сюда ради вас. Чтобы думать, вспоминать в тишине, в безнадежности...

Так хорошо, так задумчиво синеют поздней осенью эти долины, уходя друг за другом в горы. Небо равнодушно и низко висит над озерами, и неподвижно лежат темно-свинцовые озера, налитые между туманно-сизыми кряжами. Когда я гляжу в это облачное небо, меня всегда тянет уйти в его туманы, провести ночь в каком-нибудь пустом горном оте-

ле... Я бы полжизни отдала, чтобы вы были здесь со мной...

Мы уехали из города на пароходе утром, а после полудня уже шли в гору. Как печальна была эта дорога! Низкорослый лес на обрывах и скатах был редок, дремал и скупно ронял мелкие желтые листья. Иногда из-за деревьев глядели тупые, изумленные морды больших красных коров. Иногда слышался птичий свист мальчишек-пастухов, собиравших по кустарникам хворост. В глубочайшей тишине мы шагали все выше и выше, а с гор, с круч, сумрачно синевших сосновыми лесами, серым дымом спускалась зима. Останавливаясь, чтобы передохнуть, я подолгу смотрела в долины, слабо лиловевшие в деревьях далеко внизу. Тогда слышно было падение каждого листика. Мокрые кустарники плакали – тихо, тихо...

Близ какого-то туннеля, черневшего своим жерлом в тумане, встретили какой-то поселок, пять-шесть сонных хижин на скате. Только не спеша можно было одолевать трудный подъем по грязным, скользким шпалам. Но очень скоро от поселка осталось одно пят-

но внизу, а с гор уже повеяло сыростью осеннего снега.

Тут он остановился и предложил вернуться.

Я, назло ему, отказалась.

– Не остроумно, – сказал он и, подумав, опять пошел.

Туман все густел и темнел, а мы шли ему навстречу, миновали черную, закопченную и гулкую дыру туннеля, прошли почти отвесный мост над дымным бездонным ущельем... Если мой невольный спутник отставал, он мгновенно расплывался в тумане. И когда мы перекликались, голоса наши были глухи и странны.

Раз он окликнул меня, – он все сзади шел, – и, когда я остановилась, подошел и протянул мне руку.

– Будь ласкова, – несмело сказал он, – заберишь мне в рукав и вытяни фуфайку.

И мне стало жаль его. Он понял это, опустил глаза и прибавил:

– И потом, поедем куда-нибудь, где тепло, и займемся оба каким-нибудь делом. А так очень тяжело. Это ад, а не свадебное путеше-

ствие.

– Разойтись нам надо, – ответила я.

Он помолчал. И пробормотал, сдвигая брови:

– Трудно это...

– Тогда я возьму на себя этот труд, – сказала я. – Ты не смеешь делать меня жертвой своей нелепой любви.

– Я все смею, – сказал он, в упор глядя на меня. – Мне терять нечего.

Я отвернулась и пошла.

Мокрые рельсы, покрытые тающим снегом, сбегали сверху, сосны и ели шли оттуда по обрывам. В сумерках, в тумане можно было скорее чувствовать, чем различать, их лиловые пятна. И надо всеми этими хмурыми горами стояла такая тяжкая тишина заоблачного царства, которая исключала малейший признак жизни. И вдруг в старой ели, стоявшей возле дороги, послышался шорох. Помните сову? Я именно здесь вспомнила ее и после этого решила непременно написать вам. Это была, конечно, не сова, это был королек, – кажется, самая маленькая из всех существующих птиц. Серенький, вспорхнул он с

мокрого, дымящегося рукава ели, сел было на дорогу – и тихо перелетел к обрывам налево, в туман...

Представляете себе этот вечер? Мглистые стены бора, мокрый, бледный снег вдоль дороги, дымные пропасти, где висит густая аспидная мгла... А королек спокоен. Его не пугает зимняя горная ночь. Он проведет ее где придется – предоставив себя чьей-то высшей защите. А вот у меня нет веры в эту защиту.

Сейчас лягу спать в этом пустом ледяном номере, пахнущем сосною, и, когда потушу огонь, буду думать о том, что я за облаками, в настоящем царстве смерти. Он лежит в соседнем номере и глухо кашляет. Это не человек, а какие-то погребальные дроги. Я ненавижу его всей душой!

Если встретимся и я буду свободна, поцелую ваши руки от радости – делайте тогда со мной, что хотите. Нет – так тому и быть...»

Но и это письмо дошло до меня бог знает когда. Из Москвы переслали его в деревню. Там оно провалялось чуть не три месяца, потом колесило по югу. И получил я его уже в начале марта, перед отъездом из Крыма.

Тронуло оно меня, взволновало – ужасно.

Но что написать в ответ, что сделать? Я долго думал над этим и придумал только одно, прости меня, Боже:

«Поеду-ка и я через горы на лошадях».

На крымских горах тоже висел туман. Но была весна, мне было двадцать восемь лет...

На Ляй-лю, в грязной корчме на перевале, я пил кислое красное вино, пока перепрягали тройку. Все тонуло во мгле, проносившейся по ветру мимо окошечка корчмы... Я вынул письмо, перечитал его – и у меня забилося сердце.

«Ах, милая, чудесная! Но что сделать? Что сделать?»

В корчме не сиделось. Я вышел на воздух...

Туман розовел, таял. В мгlistой вышине светлело, теплело. В небесах, в дыму облаков

обозначалось что-то радостное, нежное... Оно росло, ширилось – и внезапно засияло лазурью...

Надо написать, – непременно!

Но что? Куда?

Над горной пустыней, окружавшей меня, сиял легкий лазурный купол. Но еще долго курились зубчатые утесы над стремнинами, пока не блеснуло наконец солнце. И тогда от тумана не осталось и следа. Небо раскрылось над горами во всей своей необъятности, далеко зазеленело в чистом воздухе волнистое плоскогорье. Ветер тянул с севера, но он был ласков, мягок. И, опьяненный этим ветром, я пошел к обрывам, чтобы еще раз взглянуть на море.

Исполинская дымчатая тень в радужном ореоле пала от меня в густой зыбкий пар под обрывом. Бесконечная, изрытая равнина сгустившихся облаков – целая страна белых рыхлых холмов – развернулась перед моими глазами. Вместо бездонных стремнин и скал, вместо прибрежий и заливов, до самого горизонта простиралась подо мною эта равнина, необозримым слоем повисшая над морем. И

вся сила моей души, вся печаль и радость – печаль о той, другой, которую я любил тогда, и безотчетная радость весны, молодости – все ушло туда, где, на самом горизонте, за южным краем облачного слоя, длинной яркой лентой синело море...

Колокольчик однообразным дорожным напевом говорил о долгом пути, о том, что прошлое отжито, что впереди – новая жизнь. Старая дорожная коляска, старая почтовая тройка, ушастый ямщик-татарин на высоких козлах рядом с увязанными чемоданами, дружный топот копыт, под несмолкающий плач колокольчиков, бесконечная лента шоссе... Долго я оборачивался и глядел на сизые зубцы скал, вырезающихся на сини пустого неба... А тройка, под заливающийся звон и топот, катилась и катилась все ниже и ниже, все глубже и глубже, в лесистые живописные пропасти, все дальше и дальше от перевала, вырастающего и уплывающего в небо.

Здесь, в этих молчаливых горных долинах, стояла прозрачная тишина первых весенних дней, красота бледно-ясной лазури, черных голых деревьев, прошлогодних коричневых

листьев, слежавшихся в кустах, первых фиалок, диких тюльпанов.

Здесь еще только начинали зеленеть горные скаты, отдыхая от стужи и снега. Здесь хрустально чист и свеж был воздух, как бывает он чист и свеж только ранней весной...

И казалось мне тогда, что ничего не нужно в жизни, кроме этой весны и дум о счастье.

А в конце марта, будучи уже в деревне, на севере, я неожиданно получил – почтой, через Москву – телеграмму из Женевы:

«Исполняя волю покойной, сообщаю вам, что она скончалась 17 сего марта. Эль-Маммуна».

1909–1926

Последнее свидание

I

В лунный осенний вечер, сырой и холодный, Стрешнев приказал оседлать лошадь.

Лунный свет полосой голубого дыма падал в продолговатое окошечко темного денника, самоцветным камнем зажигая глаз верхового мерина. Работник накинул на него узду и тяжелое, высокое казацкое седло, вытащил его за повод из конюшни, узлом закрутил ему хвост. Мерин был покорен. Только глубоко, раздувая ребра, вздохнул, когда почувствовал подпруги. Одна подпруга была оборвана. Работник едва вдел ее в пряжку и затянул зубами.

Кургузый, под седлом, мерин стал щеголеватей. Доведя его до дома, до крыльца, работник замотал повод вокруг гнилого столба и ушел. Мерин долго щеплял, грыз желтым зубом столб. Иногда дулся, ныл и ревел нутром. В луже возле него зеленовато отражалась неполная луна. В редком саду оседал прозрач-

ный туман.

Стрешнев, держа в руке арапник, вышел на крыльцо. Горбоносый, с маленькой, откинутой назад головой, сухой, широкоплечий, он был высок и ловок в своей коричневой поддевке, перетянутой по тонкой талии ремнем с серебряным набором, в казачьей шапке с красным верхом. Но и при луне было видно, что у него поблекшее, обветренное лицо, жесткая кудрявая бородка с проседью и жилистая шея, что длинные сапоги его стары, на полах поддевки – темные пятна давно засохшей заячьей крови.

В темном окне возле крыльца открылась форточка. Робкий голос спросил:

– Андрюша, ты куда?

– Я не маленький, мамаша, – сказал Стрешнев, нахмуриваясь и берясь за повод.

Форточка закрылась. Но в сенях стукнула дверь. Шлепая туфлями, на порог вышел Павел Стрешнев, одутловатый, с стухшими глазами, с зачесанными назад седыми волосами, в белье и старом летнем пальто, полупьяный и болтливый, как обычно.

– Ты куда, Андрей? – хрипло спросил он. –

Прошу передать мой душевный привет Вере Алексеевне. Я всегда глубоко уважал ее.

– Кого ты можешь уважать? – ответил Стрешнев. – И что ты лезешь постоянно не в свое дело?

– Виноват, виноват! – сказал Павел. – На условное свиданье мчится юноша молодой!

Стрешнев, стиснув зубы, стол садиться. Как только нога его коснулась стремени, мерин ожил, тяжело завертелся. Улучив минуту, Стрешнев легко поднялся и опустился на закрипевший арчак. Мерин задрал голову и, разбив копытом луну в луже, тронул бодрой иноходью.

В сырых лунных полях тускло белела по-
лынь на межах. Большекрылые совы бес-
шумно, неожиданно взвивались с меж – и ло-
шадь всхрапывала, шарахалась. Дорога во-
шла в мелкий лес, мертвый, холодный от лу-
ны и росы. Луна, яркая и точно мокрая, мель-
кала по голым верхушкам, и голые сучья сли-
вались с ее влажным блеском, исчезали в
нем. Горько пахло осиновой корой, оврагами
с прелой листвою... Вот спуск в разлужья, как
будто бездонные, залитые тонким белым па-
ром. Белым паром дышит и мерин, пробира-
ясь среди кустарников, стеклянных от росы.
Хруст сучков под копытами отдается на той
стороне, в высоком лесу, темнеющем по ска-
ту горы... Вдруг мерин насторожил уши. Два
плечистых, толстогогорлых, тонконогих волка
стояли в светлом дыму разлужья. Близко под-
пустив Стрешнева, они взметнулись и неук-
люжим галопом пошли в гору, по белой измо-
рози, радужно сияющей траве.

– А если она еще на день останется? – ска-
зал Стрешнев, откидывая голову, глядя на лу-

ну.

Луна стояла над пустынными серебристо-туманными лугами направо... Осенняя печаль и красота!

Мерин, скрипя арчаком, натуживаясь и ноя сильным нутром, поднимался в частый высокий лес, по глубокой ложбине размытой ручьями дороги, и вдруг, оступившись, чуть не рухнул на землю. Стрешнев яростно перекосил лицо и со всей силы ударил его по голове арапником.

– У, старая собака! – крикнул он с тоскливой злобой на весь звонкий лес.

За лесом открылись пустые поля. На скате, среди темных гречишных жнивий, стояла бедная усадьба, кое-какие службы, дом, крытый соломой. Как печально было все это при луне! Стрешнев остановился. Казалось, что поздно, поздно, – так тихо было кругом. Он въехал во двор. Дом был темен. Бросив повод, Стрешнев соскочил с седла. Мерин остался стоять с покорно опущенной головой. На крыльце, положив морду на лапы, калачиком свернулась старая гончая собака. Она не двинулась, только посмотрела, подняв брови, и с

приветом постучала хвостом. Стрешнев вошел в сени, пахнувшие из чулана старым отхожим местом. В передней был сумрак; стекла, в холодном поту, золотились. Из темного коридора бесшумно выбежала небольшая женщина в легком светлом капоте. Стрешнев наклонился. Она быстро и крепко обвила его сухую шею обнажившимися руками и радостно, тихо заплакала, прижимая голову к жесткому сукну поддевки. Слышно было, как под детски бьется ее сердце, чувствовался крестик на ее груди, золотой, бабушкин – последнее богатство.

– Ты до завтра? – быстрым шепотом спросила она. – Да? Я не верю своему счастью!

– Я пойду, Вера, лошадь убрать, – сказал Стрешнев, освобождаясь. – До завтра, до завтра, – сказал он, думая: «Боже мой, с каждым днем все восторженней! И как много курит, как неумеренна в ласках!»

Лицо Веры было нежно, бархатисто от пудры. Она осторожно проводила щекой по его губам, потом крепко целовала в губы мягкими губами. Крест блестел на ее раскрытой груди. Она надела тончайшую сорочку – за-

ветную, хранимую для самых важных моментов, единственную.

«Как твердо знал я, – думал Стрешнев, стараясь вспомнить ее молоденькой девушкой, – как твердо знал пятнадцать лет тому назад, ни минуты не колеблясь, пятнадцать лет жизни за одно свидание с ней!»

III

Перед рассветом на полу возле постели горела свеча. Стрешнев, длинный, в шароварах, в расстегнутой косоворотке, лежал на спине, важно отклонив в сумрак маленькое горбоносое лицо, закинув за голову руки. Вера сидела возле него, облокотись на колено. Блестящие глаза ее были красны, опухли от слез. Она курила и тупо глядела в пол. Она положила ногу на ногу. Маленькая нога ее в легкой, дорогой туфельке очень нравилась ей самой. Но боль сердца была слишком сильна.

– Я для тебя всем пожертвовала, – тихо сказала она, и губы ее опять задрожали.

В голосе ее было столько нежности, детского горя! Но, открывая глаза, Стрешнев холодно спросил:

– Чем ты пожертвовала?

– Всем, всем. И прежде всего честью, молодостью...

– Мы с тобой не бог весть как молоды.

– Какой ты грубый, нечуткий! – ласково сказала она.

– Во всем мире все женщины говорят одно и то же. Любимое слово, только произносимое разное. Сперва с восторгом, с восхищением: «Ты такой умный, чуткий!» Потом: «Какой ты грубый, нечуткий!»

Тихо плача, она продолжала, как бы не слушая:

– Пусть из меня ничего не вышло... Но музыку я любила и люблю страстно и хоть немногого, но добилась бы...

– Ах, не музыку. И как только Падарский...

– Грубо, Андрюша... А теперь я жалкая институтская таперша, и где же! В том самом проклятом городе, который я всегда так ненавидела! Разве я не могла бы и теперь еще найти человека, который дал бы мне покой, семью и любил и уважал бы меня? Но память о нашей любви...

Стрешнев закурил и стал отвечать медлен-

но, разделяя слова:

– Вера, мы, дворянское отродье, не умеем просто любить. Это отрава для нас. И это я, а не ты, загубил себя. Пятнадцать, шестнадцать лет тому назад я приезжал сюда каждый день и готов был ночевать у твоего порога. Я тогда был еще мальчишка, восторженный и нежный дуралей...

Папироска потухла. Он далеко отшвырнул ее, уронил руку вдоль тела, глядя в потолок.

– Любовь прадедов, их портреты в овальных рамках с золотой бумажкой вокруг синей... Образ Гурия, Симона и Авива, покровителей наших древних семей... Кому, как не нам с тобой, назначалось все это? Я тогда стишки писал:

*Любя тебя, мечтал я о мечтавших,
Любивших здесь сто лет тому назад —
И по ночам ходил в заглохший сад,
При свете звезд, их некогда кидавших...*

Он взглянул на Веру и заговорил резко:

– Зачем ты ушла – и за кем? – из своего рода, из своего племени?

Он приподнялся и стал в упор, злыми глазами глядеть на ее черные сухие волосы.

– Я о тебе, с восторгом, с благоговением, всегда только как о жене думал. А когда нас свела судьба? И чем ты мне стала? Женой разве? А была молодость, радость, чистота, темный румянец, батистовая косоворотка... Приезжать к вам каждый день, видеть твоё платье, тоже батистовое, легкое, молодое, видеть твои голые руки, почти черные от солнца и от крови наших предков, татарские сияющие глаза – не видящие меня глаза! – желтую розу в угольных волосах, твою тогда глупую, изумленную какую-то, но прелестную улыбку, даже то, как ты уходишь от меня по дорожке сада, думая о другом, а притворяясь, что играешь, гонишь крокетный шар, слышать оскорбительные фразы твоей матери с балкона – это было для меня...

– Она, а не я во всем виновата, – с трудом сказала Вера.

– Нет! Помнишь, как ты в первый раз уезжала в Москву, собиралась, рассеянно пела

что-то, не видя меня, поглощенная своими мечтами, уверенностью в счастье? Я вас поехал провожать верхом, в ясный холодный вечер. Блестели яркие зеленыя, розовели жнивьья и занавеска в открытом окне вагона... Ах! – сказал Стрешнев со злобой и со слезами и опять лег на подушку. – От твоей руки, пахнувшей вербеной, остался запах и на моей руке. Он смешался с запахом повода, седла, пота лошади, но я все еще чувствовал его, ехал в сумерках по большой дороге – и плакал... Если уж кто пожертвовал всем, всей своей жизнью, так это я, старый пьяница!

И, чувствуя на губах теплую соль слез, катившихся по его щекам, по усам, Стрешнев скинул с постели ноги и вышел из комнаты.

Луна садилась. Белый рыхлый туман стоял под скатом полей, мертвенно синяя. Далекo за ним занималась багряная заря. Далекo, в холодном потемневшем лесу, пел петух в сенцах караульщика. Стрешнев, в одних носках, сел на ступеньки крыльца, чувствуя, как обливает холодной сыростью его тело под тонкой рубашкой.

– А потом, конечно, роли переменялись, –

сказал он тихо, с отвращением. – Ну, да теперь все равно. Конец...

IV

Утром пили чай в холодной прихожей, на огромном сундуке. Самовар стоял на нем нечищенный, позеленевший, давно потухший. Холодный пот, покрывавший окно, сошел с верхнего стекла. Виден был в него солнечный блеск морозного утра, корявое дерево в бесцветной, кое-где уцелевшей зелени. Босая, опухшая от сна рыжая девка вошла и сказала:

– Митрий приехал.

– Подождет, – ответил Стрешнев, не поднимая глаз.

Не поднимала глаз и Вера. Лицо ее похудело за ночь, под глазами и вокруг век был коричневый налет. Черное платье делало ее моложе и красивее, от черных волос пудра на лице казалась розовее. Сухое, жесткое лицо Стрешнева было мертвенно, откинута назад. Сквозь жесткую курчаво-серую бородку глядел большой кадык.

На дворе слепило низкое солнце. Все крыльцо было седое от мороза. Мороз солью

лежал на траве, на сизо-зеленых раковинах капустных листьев, раскиданных по двору. Мужик, с оловянными глазами, приехавший к крыльцу в телеге, набитой соломой, тоже заиндевевшей, ходил вокруг телеги, уминал солому, держа в зубах трубку, и через плечо его тянулся сиреневый дым. Вера вышла на крыльцо в дорогой и легкой, но уже ветхой старомодной шубке и в летней шляпке из черной соломы с жесткими, ржаво-атласными цветами.

Проводил ее Стрешнев по отпотевшим проселочным дорогам до большой дороги. Ехал за телегой. Мерин тянулся к соломе. Он стегал его по морде арапником, мерин задира л голову и трудно хрипел нутром. Плелись шагом и молчали. Сзади бежала увязавшаяся за Стрешневым старая гончая собака из усадьбы. Низкое солнце пригревало, небо было кроткое, ясное.

Возле большой дороги мужик неожиданно сказал:

– А я, барышня, опять пригону на лето к вам своего мальчишку. Я его опять к вам в пастушата предназначил.

Вера обернулась с застенчивой улыбкой. Стрешнев снял шапку, наклонился с седла, взял ее руку и поцеловал долгим поцелуем. Она прильнула губами к его седеющему виску, тихо сказала:

– Будь здоров, дорогой. Не поминай лихом.

По большой дороге мужик загремел телегой, поехал рысью. Стрешнев повернул, поехал назад без дороги, по жнивьям. Собака издали провожала его, четко видная среди золотых полей. Он останавливался, грозил ей арапником. Она тоже останавливалась, садилась. – «Куда ж я пойду?» – как бы спрашивала она. И, как только он трогался, опять неспешной рысцой бежала за ним. Думал он о далекой станции, блестящих рельсах, дыме уходящего к югу поезда...

В голых, местами каменистых лугах, куда он спустился, было почти жарко. Беззвучно сиял осенний день голубым чистым небом. Великая тишина стояла над пустыми полями, над оврагами, подо всей великой русской степью. Медленно плыла по воздуху вата с татарок, с иссохших репьев. На перьях сидели щеглы. Так они будут сидеть целый день,

только изредка перелетая, перенося свою
тихую, прелестную, счастливую жизнь.

Капри. 31 декабря 1912

Грамматика любви

Некто Ивлев ехал однажды в начале июня в дальний край своего уезда.

Тарантас с кривым пыльным верхом дал ему шурин, в имении которого он проводил лето. Тройку лошадей, мелких, но справных, с густыми сбитыми гривами, нанял он на деревне, у богатого мужика. Правил ими сын этого мужика, малый лет восемнадцати, тупой, хозяйственный. Он все о чем-то недовольно думал, был как будто чем-то обижен, не понимал шуток. И, убедившись, что с ним не разговоришься, Ивлев отдался той спокойной и бесцельной наблюдательности, которая так идет к ладу копыт и громыханию бубенчиков.

Ехать сначала было приятно: теплый, тусклый день, хорошо накатанная дорога, в полях множество цветов и жаворонков; с хлебов, с невысоких сизых ржей, простиравшихся насколько глаз хватит, дул сладкий ветерок, нес по их косякам цветочную пыль, местами дымил ею, и вдали от нее было даже туманно. Малый, в новом картузе и неуклюжем люст-

риновом пиджаке, сидел прямо; то, что лошади были всецело вверены ему и что он был наряжен, делало его особенно серьезным. А лошади кашляли и не спеша бежали, валец левой пристяжки порою скреб по колесу, порою натягивался, и все время мелькала под ним белой сталью стертая подкова.

– К графу будем заезжать? – спросил малый, не оборачиваясь, когда впереди показалась деревня, замыкавшая горизонт своими лозинами и садом.

– А зачем? – сказал Ивлев.

Малый помолчал и, сбив кнутом прилипшего к лошади крупного овода, сумрачно ответил:

– Да чай пить...

– Не чай у тебя в голове, – сказал Ивлев. – Все лошадей жалеешь.

– Лошадь езды не боится, она корму боится, – ответил малый наставительно.

Ивлев поглядел кругом: погода поскучнела, со всех сторон натянуло линючих туч и уже накрапывало – эти скромные деньки всегда оканчиваются окладными дождями... Старик, пахавший возле деревни, сказал, что до-

ма одна молодая графиня, но все-таки заехали. Малый натянул на плечи армяк и, довольный тем, что лошади отдыхают, спокойно мок под дождем на козлах тарантаса, остановившегося среди грязного двора, возле каменного корыта, вросшего в землю, истыканную копытами скота. Он оглядывал свои сапоги, поправлял кнутовищем шлею на кореннике; а Ивлев сидел в темнеющей от дождя гостиной, болтал с графиней и ждал чая; уже пахло горячей лучиной, густо плыл мимо открытых окон зеленый дым самовара, который босая девка набивала на крыльце пуками ярко пылающих кумачным огнем щепок, обливая их керосином. Графиня была в широком розовом капоре, с открытой напудренной грудью; она курила, глубоко затягиваясь, часто поправляла волосы, до плечей обнажая свои тугие и круглые руки; затягиваясь и смеясь, она все сводила разговор на любовь и между прочим рассказывала про своего близкого соседа, помещика Хвоцинского, который, как знал Ивлев еще с детства, всю жизнь был помешан на любви к своей горничной Лушке, умершей в ранней молодости. «Ах, эта леген-

дарная Лушка! – заметил Ивлев шутливо, слегка сконфузясь своего признания. – Оттого, что этот чудак обоготворил ее, всю жизнь посвятил сумасшедшим мечтам о ней, я в молодости был почти влюблен в нее, воображал, думая о ней бог знает что, хотя она, говорят, совсем нехороша была собой». «Да? – сказала графиня, не слушая. – Он умер нынешней зимой. И Писарев, единственный, кого он иногда допускал к себе по старой дружбе, утверждает, что во всем остальном он нисколько не был помешан, и я вполне верю этому, – просто он был не теперешним чета...» Наконец босая девка с необыкновенной осторожностью подала на старом серебряном подносе стакан крепкого сивого чая из прудовки и корзиночку с печеньем, засиженным мухами.

Когда поехали дальше, дождь разошелся уже по-настоящему. Пришлось поднять верх, закрыться каляным, ссохшимся фартуком, сидеть согнувшись. Громыхали глухарями лошади, по их темным и блестящим ляжкам бежали струйки, под колесами шуршали травы какого-то рубежа среди хлебов, где малый поехал в надежде сократить путь, под верхом

собирался теплый ржаной дух, мешавшийся с запахом старого тарантаса... «Так вот оно что, Хвоцинский умер, – думал Ивлев. – Надо непременно заехать, хоть взглянуть на это опустевшее святилище таинственной Лушки... Но что за человек был этот Хвоцинский? Сумасшедший или просто какая-то ошеломленная, вся на одном сосредоточенная душа?» По рассказам стариков помещиков, сверстников Хвоцинского, он когда-то слыл в уезде за редкого умницу. И вдруг свалилась на него эта любовь, эта Лушка, потом неожиданная смерть ее – и все пошло прахом: он затворился в доме, в той комнате, где жила и умерла Лушка, и больше двадцати лет просидел на ее кровати, не только никуда не выезжал, а даже у себя в усадьбе не показывался никому, насквозь просидел матрац на Лушкиной кровати и Лушкиному влиянию приписывал буквально все, что совершалось в мире: гроза заходит – это Лушка насылает грому, объявлена война – значит, так Лушка решила, неурожай случился – не угодили мужики Лушке...

– Ты на Хвоцинское, что ли, едешь? – крикнул Ивлев, высовываясь под дождь.

– На Хвощинское, – невнятно отозвался сквозь шум дождя малый, с обвисшего картуза которого текла вода. – На Писарев верх...

Такого пути Ивлев не знал. Места становились все беднее и глуше. Кончился рубеж, лошади пошли шагом и спустили покосившийся тарантас размытой колдобиной под горку, в какие-то еще не кошенные луга, зеленые скаты которых грустно выделялись на низких тучах.

Потом дорога, то пропадая, то возобновляясь, стала переходить с одного бока на другой по днищам оврагов, по буеракам в ольховых кустах и верболозах... Была чья-то маленькая пасека, несколько колодок, стоявших на скате в высокой траве, краснеющей земляникой... Объехали какую-то старую плотину, потонувшую в крапиве, и давно высохший пруд – глубокую яругу, заросшую бурьяном выше человеческого роста... Пара черных куличков с плачем метнулась из них в дождливое небо... А на плотине, среди крапивы, мелкими бледно-розовыми цветочками цвел большой старый куст, то милое деревце, которое зовут «божьим деревом», – и вдруг Ивлев вспомнил

места, вспомнил, что не раз ездил тут в молодости верхом...

– Говорят, она тут утопилась-то, – неожиданно сказал мальй.

– Ты про любовницу Хвощинского, что ли? – спросил Ивлев. – Это неправда, она и не думала топиться.

– Нет, утопилась, – сказал мальй. – Ну, только думается, он, скорей всего, от бедности от своей сошел с ума, а не от ней...

И, помолчав, грубо прибавил:

– А нам опять надо заезжать... в это, в Хвощино-то... Ишь как лошаdito уморились!

– Сделай милость, – сказал Ивлев.

На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, на месте сведенного леса, среди мокрой, гниющей щепы и листвы, среди пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо пахнувшей, одиноко стояла изба. Ни души не было кругом, только овсянки, сидя под дождем на высоких цветах, звенели на весь редкий лес, поднимавшийся за избою, но, когда тройка, шлепая по грязи, поравнялась с ее порогом, откуда-то вырвалась целая орава громадных собак, черных, шоколадных, дымча-

тых, и с яростным лаем накипела вокруг лошадей, взвиваясь к самым их мордам, на лету перевертываясь и прядая даже под верх тарантаса. В то же время и столь же неожиданно небо над тарантасом расколосось от оглушительного удара грома, малый с остервенением кинулся драть собак кнутом, и лошади вскачь понесли среди замелькавших перед глазами осиновых стволов...

За лесом уже видно было Хвощинское. Собаки отстали и сразу смолкли, деловито побежали назад, лес расступился, и впереди опять открылись поля. Вечерело, и тучи не то расходились, не то заходили теперь с трех сторон: слева – почти черная, с голубыми просветами, справа – седая, грохочущая непрерывным громом, а с запада, из-за хвощинской усадьбы, из-за косогоров над речной долиной, – мутно-синяя, в пыльных полосах дождя, сквозь которые розовели горы дальних облаков. Но над тарантасом дождь редел, и, приподнявшись, Ивлев, весь закиданный грязью, с удовольствием завалил назад отяжелевший верх и свободно вздохнул пахучей сыростью поля.

Он глядел на приближающуюся усадьбу, видел наконец то, о чем слышал так много, но по-прежнему казалось, что жила и умерла Лушка не двадцать лет тому назад, а чуть ли не во времена незапамятные. По долине терялся в куге след мелкой речки, над ней летала белая рыбалка. Дальше, на полугоре, лежали ряды сена, потемневшие от дождя; среди них, далеко друг от друга, раскидывались старые серебристые тополи. Дом, довольно большой, когда-то беленый, с блестящей мокрой крышей, стоял на совершенно голом месте. Не было кругом ни сада, ни построек, только два кирпичных столба на месте ворот да лопухи по канавам. Когда лошади вброд перешли речку и поднялись на гору, какая-то женщина в летнем мужском пальто, с обвисшими карманами, гнала по лопухам индюшек. Фасад дома был необыкновенно скучен: окон в нем было мало, и все они были невелики, сидели в толстых стенах. Зато огромны были мрачные крыльца. С одного из них удивленно глядел на подъезжающих молодой человек в серой гимназической блузе, подпоясанной широким ремнем, черный, с красивыми гла-

зами и очень милостивый, хотя лицо его было бледно и от веснушек пестро, как птичье яйцо.

Нужно было чем-нибудь объяснить свой заезд. Поднявшись на крыльцо и назвав себя, Ивлев сказал, что хочет посмотреть и, может быть, купить библиотеку, которая, как говорила графиня, осталась от покойного, и молодой человек, густо покраснев, тотчас повел его в дом. «Так вот это и есть сын знаменитой Лушки!» – подумал Ивлев, окидывая глазами все, что было на пути, и часто оглядываясь и говоря что попало, лишь бы лишний раз взглянуть на хозяина, который казался слишком моложав для своих лет. Тот отвечал поспешно, но односложно, путался, видимо, и от застенчивости, и от жадности; что он страшно обрадовался возможности продать книги и вообразил, что сбудет их недешево, сказано в первых же его словах, в той неловкой торопливости, с которой он заявил, что таких книг, как у него, ни за какие деньги нельзя достать. Через полутемные сени, где была настлана красная от сырости солома, он ввел Ивлева в большую переднюю.

– Тут вот и жил ваш батюшка? – спросил Ивлев, входя и снимая шляпу.

– Да, да, тут, – поспешил ответить молодой человек. – То есть, конечно, не тут... они ведь больше всего в спальне сидели... но, конечно, и тут бывали...

– Да, я знаю, он ведь был болен, – сказал Ивлев.

Молодой человек вспыхнул.

– То есть чем болен? – сказал он, и в голосе его послышались более мужественные ноты. – Это все сплетни, они умственно насколько не были больны... Они только все читали и никуда не выходили, вот и все... Да нет, вы, пожалуйста, не снимайте картуз, тут холодно, мы ведь не живем в этой половине...

Правда, в доме было гораздо холоднее, чем на воздухе. В неприветливой передней, оклеенной газетами, на подоконнике печального от туч окна стояла лубяная перепелиная клетка. По полу сам собою прыгал серый мешочек. Наклонившись, молодой человек поймал его и положил на лавку, и Ивлев понял, что в мешочке сидит перепел; затем вошли в зал. Эта комната, окнами на запад и север, занимала

чуть ли не половину всего дома. В одно окно, на золоте расчищающейся за тучами зари, видна была столетняя, вся черная плакучая береза. Передний угол весь был занят божницей без стекол, уставленной и увешанной образами; среди них выделялся и величиной и древностью образ в серебряной ризе, и на нем, желтея воском, как мертвым телом, лежали венчальные свечи в бледно-зеленых бантах.

– Простите, пожалуйста, – начал было Ивлев, преодолевая стыд, – разве ваш батюшка...

– Нет, это так, – пробормотал молодой человек, мгновенно поняв его. – Они уже после ее смерти купили эти свечи... и даже обручальное кольцо всегда носили...

Мебель в зале была топорная. Зато в простенках стояли прекрасные горки, полные чайной посудой и узкими, высокими бокалами в золотых ободках. А пол весь был устлан сухими пчелами, которые щелкали под ногами. Пчелами была усыпана и гостиная, совершенно пустая. Пройдя ее и еще какую-то сумрачную комнату с лежанкой, молодой чело-

век остановился возле низенькой двери и вынул из кармана брюк большой ключ. С трудом повернув его в ржавой замочной скважине, он распахнул дверь, что-то пробормотал, и Ивлев увидел каморку в два окна; у одной стены ее стояла железная голая койка, у другой – два книжных шкапчика из карельской березы.

– Это и есть библиотека? – спросил Ивлев, подходя к одному из них.

И молодой человек, поспешив ответить утвердительно, помог ему растворить шкапчик и жадно стал следить за его руками.

Престранные книги составляли эту библиотеку! Раскрывал Ивлев толстые переплеты, отворачивал шершавую серую страницу и читал: «Заклятое урочище», «Утренняя звезда и ночные демоны», «Размышления о таинствах мироздания», «Чудесное путешествие в волшебный край», «Новейший сонник»... А руки все-таки слегка дрожали. Так вот чем питалась та одинокая душа, что навсегда затворилась от мира в этой каморке и еще так недавно ушла из нее... Но, может быть, она, эта душа, и впрямь не совсем была безумна?

«Есть бытие, – вспомнил Ивлев стихи Баратынского, – есть бытие, но именем каким его назвать? Ни сон оно, ни бденье, – меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разуменье...» Расчистило на западе, золото глядело оттуда из-за красивых лиловатых облаков и странно озаряло этот бедный приют любви, любви непонятной, в какое-то экстатическое житие превратившей целую человеческую жизнь, которой, может, надлежало быть самой обыденной жизнью, не случись какой-то загадочной в своем обаянии Лушки...

Взяв из-под койки скамеечку, Ивлев сел перед шкапом и вынул папиросы, незаметно оглядывая и запоминая комнату.

– Вы курите? – спросил он молодого человека, стоявшего над ним.

Тот опять покраснел.

– Курю, – пробормотал он и попытался улыбнуться. – То есть не то что курю, скорее балуюсь... А впрочем, позвольте, очень благодарен вам...

И, неловко взяв папиросу, закурил дрожащими руками, отошел к подоконнику и сел

на него, загораживая желтый свет зари.

– А это что? – спросил Ивлев, наклоняясь к средней полке, на которой лежала только одна очень маленькая книжечка, похожая на молитвенник, и стояла шкатулка, углы которой были обделаны в серебро, потемневшее от времени.

– Это так... В этой шкатулке ожерелье покойной матушки, – запнувшись, но стараясь говорить небрежно, ответил молодой человек.

– Можно взглянуть?

– Пожалуйста... хотя оно ведь очень простое... вам не может быть интересно...

И, открыв шкатулку, Ивлев увидел заносенный шнурок, снизу дешевеньких голубых шариков, похожих на каменные. И такое волнение овладело им при взгляде на эти шарики, некогда лежавшие на шее той, которой суждено было быть столь любимой и чей смутный образ уже не мог не быть прекрасным, что зарябило в глазах от сердцебиения. Насмотревшись, Ивлев осторожно поставил шкатулку на место; потом взялся за книжечку. Это была крохотная, прелестно изданная

почти сто лет тому назад «Грамматика любви, или Искусство любить и быть взаимно любимым».

– Эту книжечку я, к сожалению, не могу продать, – с трудом проговорил молодой человек. – Она очень дорогая... они даже под подушку ее себе клали...

– Но, может быть, вы позволите хоть посмотреть ее? – сказал Ивлев.

– Пожалуйста, – прошептал молодой человек.

И, преодолевая неловкость, смутно томясь его пристальным взглядом, Ивлев стал медленно перелистывать «Грамматику любви». Она вся делилась на маленькие главы: «О красоте, о сердце, об уме, о знаках любовных, о нападении и защищении, о размолвке и примирении, о любви платонической»... Каждая глава состояла из коротеньких, изящных, порою очень тонких сентенций, и некоторые из них были деликатно отмечены пером, красными чернилами. «Любовь не есть простая эпизода в нашей жизни, – читал Ивлев. – Разум наш противоречит сердцу и не убеждает оного. – Женщины никогда не были так

сильны, как когда они вооружаются слабостью. – Женщину мы обожаем за то, что она владычествует над нашей мечтой идеальной. – Тщеславие выбирает, истинная любовь не выбирает. – Женщина прекрасная должна занимать вторую ступень; первая принадлежит женщине милой. Сия-то делается владычицей нашего сердца: прежде нежели мы отдадим о ней отчет сами себе, сердце наше делается невольником любви навеки...» Затем шло «изъяснение языка цветов», и опять кое-что было отмечено: «Дикий мак – печаль. Вересклед – твоя прелесть запечатлена в моем сердце. Могильница – сладостные воспоминания. Печальный гераний – меланхолия. Полынь – вечная горесть...» А на чистой страничке в самом конце было мелко, бисерно написано теми же красными чернилами четверостишие. Молодой человек вытянул шею, заглядывая в «Грамматику любви», и сказал с деланой усмешкой:

– Это они сами сочинили...

Через полчаса Ивлев с облегчением простился с ним. Из всех книг он за дорогую цену купил только эту книжечку. Мутно-золо-

тая заря блекла в облаках за полями, отсвечивала в лужах, мокро и зелено было в полях. Малый не спешил, но Ивлев не понукал его. Малый рассказывал, что та женщина, которая давеча гнала по лопухам индюшек, жена дьякона, что молодой Хвоцинский живет с нею. Ивлев не слушал. Он все думал о Лушке, о ее ожерелье, которое оставило в нем чувство сложное, похожее на то, какое испытал он когда-то в одном итальянском городке при взгляде на реликвии одной святой. «Вошла она навсегда в мою жизнь!» – подумал он. И, вынув из кармана «Грамматику любви», медленно перечитал при свете зари стихи, написанные на ее последней странице:

*Тебе сердца любивших скажут:
«В преданьях сладостных живи!»
И внукам, правнукам покажут
Сию Грамматику Любви.*

Москва. Февраль. 1915

Легкое дыхание

На кладбище, над свежей глиняной насыпью стоит новый крест из дуба, крепкий, тяжелый, гладкий.

Апрель, дни серые; памятники кладбища, просторного, уездного, еще далеко видны сквозь голые деревья, и холодный ветер звенит и звенит фарфоровым венком у подножия креста.

В самый же крест вделан довольно большой, выпуклый фарфоровый медальон, а в медальоне – фотографический портрет гимназистки с радостными, поразительно живыми глазами.

Это Оля Мещерская.

Девочкой она ничем не выделялась в толпе коричневых гимназических платьиц: что можно было сказать о ней, кроме того, что она из числа хорошеньких, богатых и счастливых девочек, что она способна, но шаловлива и очень беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама? Затем она стала расцветать, развиваться не по дням, а по часам. В четырнадцать лет у нее, при тон-

кой талии и стройных ножках, уже хорошо обрисовывались груди и все те формы, очарование которых еще никогда не выразило человеческое слово; в пятнадцать она слыла уже красавицей. Как тщательно причесывались некоторые ее подруги, как чистоплотны были, как следили за своими сдержанными движениями! А она ничего не боялась – ни чернильных пятен на пальцах, ни раскрасневшегося лица, ни растрепанных волос, ни заголившегося при падении на бегу колена. Без всяких ее забот и усилий и как-то незаметно пришло к ней все то, что так отличало ее в последние два года из всей гимназии, – изящество, нарядность, ловкость, ясный блеск глаз... Никто не танцевал так на балах, как Оля Мещерская, никто не бегал так на коньках, как она, ни за кем на балах не ухаживали столько, сколько за ней, и почему-то никого не любили так младшие классы, как ее. Незаметно стала она девушкой, и незаметно упрочилась ее гимназическая слава, и уже пошли толки, что она ветрена, не может жить без поклонников, что в нее безумно влюблен гимназист Шеншин, что будто бы и

она его любит, но так изменчива в обращении с ним, что он покушался на самоубийство.

Последнюю свою зиму Оля Мещерская совсем сошла с ума от веселья, как говорили в гимназии. Зима была снежная, солнечная, морозная, рано опускалось солнце за высокий ельник снежного гимназического сада, неизменно погожее, лучистое, обещающее и на завтра мороз и солнце, гулянье на Соборной улице, каток в городском саду, розовый вечер, музыку и эту во все стороны скользящую на катке толпу, в которой Оля Мещерская казалась самой беззаботной, самой счастливой. И вот однажды, на большой перемене, когда она вихрем носилась по сборному залу от гонящихся за ней и блаженно визжавших первоклассниц, ее неожиданно позвали к начальнице. Она с разбегу остановилась, сделала только один глубокий вздох, быстрым и уже привычным женским движением оправила волосы, дернула уголки передника к плечам и, сияя глазами, побежала наверх. Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным сто-

лом, под царским портретом.

– Здравствуйте, mademoiselle Мещерская, – сказала она по-французски, не поднимая глаз от вязанья. – Я, к сожалению, уже не первый раз принуждена призывать вас сюда, чтобы говорить с вами относительно вашего поведения.

– Я слушаю, madame, – ответила Мещерская, подходя к столу, глядя на нее ясно и живо, но без всякого выражения на лице, и присела так легко и грациозно, как только она одна умела.

– Слушать вы меня будете плохо, я, к сожалению, убедилась в этом, – сказала начальница и, потянув нитку и завертев на лакированном полу клубок, на который с любопытством посмотрела Мещерская, подняла глаза. – Я не буду повторяться, не буду говорить пространно, – сказала она.

Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет, так хорошо дышавший в морозные дни теплом блестящей голландки и свежестью ландышей на письменном столе. Она посмотрела на молодого царя, во весь рост написанного среди ка-

кой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала.

– Вы уже не девочка, – многозначительно сказала начальница, втайне начиная раздражаться.

– Да, madame, – просто, почти весело ответила Мещерская.

– Но и не женщина, – еще многозначительнее сказала начальница, и ее матовое лицо слегка заалело. – Прежде всего, – что это за прическа? Это женская прическа!

– Я не виновата, madame, что у меня хорошие волосы, – ответила Мещерская и чуть тронула обеими руками свою красиво убранную голову.

– Ах, вот как, вы не виноваты! – сказала начальница. – Вы не виноваты в прическе, не виноваты в этих дорогих гребнях, не виноваты, что разоряете своих родителей на туфельки в двадцать рублей! Но, повторяю вам, вы совершенно упускаете из виду, что вы пока только гимназистка...

И тут Мещерская, не теряя простоты и спо-

койствия, вдруг вежливо перебила ее:

– Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом – знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат Алексей Михайлович Малютин. Это случилось прошлым летом в деревне...

А через месяц после этого разговора казачий офицер, некрасивый и плебейского вида, не имевший ровно ничего общего с тем кругом, к которому принадлежала Оля Мещерская, застрелил ее на платформе вокзала, среди большой толпы народа, только что прибывшей с поездом. И невероятное, ошеломившее начальницу признание Оли Мещерской совершенно подтвердилось: офицер заявил судебному следователю, что Мещерская завлекла его, была с ним близка, поклялась быть его женой, а на вокзале, в день убийства, провожая его в Новочеркасск, вдруг сказала ему, что она и не думала никогда любить его, что все эти разговоры о браке – одно ее издевательство над ним, и дала ему прочесть ту страничку дневника, где говорилось о Малютине.

– Я пробежал эти строки и тут же, на плат-

форме, где она гуляла, поджидая, пока я кончу читать, выстрелил в нее, – сказал офицер. – Дневник этот, вот он, взгляните, что было написано в нем десятого июля прошлого года. В дневнике было написано следующее: "Сейчас второй час ночи. Я крепко заснула, но тотчас же проснулась... Нынче я стала женщиной! Папа, мама и Толя, все уехали в город, я осталась одна. Я была так счастлива, что одна! Я утром гуляла в саду, в поле, была в лесу, мне казалось, что я одна во всем мире, и я думала, так хорошо, как никогда в жизни. Я и обедала одна, потом целый час играла, под музыку у меня было такое чувство, что я буду жить без конца и буду так счастлива, как никто. Потом заснула у папы в кабинете, а в четыре часа меня разбудила Катя, сказала, что приехал Алексей Михайлович. Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать. Он приехал на паре своих вяток, очень красивых, и они все время стояли у крыльца, он остался, потому что был дождь, и ему хотелось, чтобы к вечеру просохло. Он жалел, что не застал папу, был очень оживлен и держал себя со мной кавалером, много

шутил, что он давно влюблен в меня. Когда мы гуляли перед чаем по саду, была опять прелестная погода, солнце блестело через весь мокрый сад, хотя стало совсем холодно, и он вел меня под руку и говорил, что он Фауст с Маргаритой. Ему пятьдесят шесть лет, но он еще очень красив и всегда хорошо одет – мне не понравилось только, что он приехал в крылатке, – пахнет английским одеколоном, и глаза совсем молодые, черные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная. За чаем мы сидели на стеклянной веранде, я почувствовала себя как будто нездоровой и прилегла на тахту, а он курил, потом пересел ко мне, стал опять говорить какие-то любезности, потом рассматривать и целовать мою руку. Я закрыла лицо шелковым платком, и он несколько раз поцеловал меня в губы через платок... Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!.."

Город за эти апрельские дни стал чист, сух, камни его побелели, и по ним легко и прият-

но идти. Каждое воскресенье, после обедни, по Соборной улице, ведущей к выезду из города, направляется маленькая женщина в трауре, в черных лайковых перчатках, с зонтиком из черного дерева. Она переходит по шоссе грязную площадь, где много закопченных кузниц и свежо дует полевой воздух; дальше, между мужским монастырем и острогом, белеет облачный склон неба и сереет весеннее поле, а потом, когда проберешься среди луж под стеной монастыря и повернешь налево, увидишь как бы большой низкий сад, обнесенный белой оградой, над воротами которой написано Успение божией матери. Маленькая женщина мелко крестится и привычно идет по главной аллее. Дойдя до скамьи против дубового креста, она сидит на ветру и на весеннем холоде час, два, пока совсем не залягут ее ноги в легких ботинках и рука в узкой лайке. Слушая весенних птиц, сладко поющих и в холод, слушая звон ветра в фарфоровом венке, она думает иногда, что отдала бы полжизни, лишь бы не было перед ее глазами этого мертвого венка. Этот венок, этот бугор, дубовый крест! Возможно ли, что под

ним та, чьи глаза так бессмертно сияют из этого выпуклого фарфорового медальона на кресте, и как совместить с этим чистым взглядом то ужасное, что соединено теперь с именем Оли Мещерской? – Но в глубине души маленькая женщина счастлива, как все преданные какой-нибудь страстной мечте люди.

Женщина эта – классная дама Оли Мещерской, немолодая девушка, давно живущая какой-нибудь выдумкой, заменяющей ей действительную жизнь. Сперва такой выдумкой был ее брат, бедный и ничем не замечательный прапорщик, – она соединила всю свою душу с ним, с его будущностью, которая почему-то представлялась ей блестящей. Когда его убили под Мукденом, она убеждала себя, что она – идейная труженица. Смерть Оли Мещерской пленила ее новой мечтой. Теперь Оля Мещерская – предмет ее неотступных дум и чувств. Она ходит на ее могилу каждый праздник, по часам не спускает глаз с дубового креста, вспоминает бледное личико Оли Мещерской в гробу, среди цветов – и то, что однажды подслушала: однажды, на большой перемене, гуляя по гимназическому саду, Оля

Мещерская быстро, быстро говорила своей любимой подруге, полной, высокой Субботиной:

– Я в одной папиной книге, – у него много старинных смешных книг, – прочла, какая красота должна быть у женщины... Там, понимаешь, столько насаказано, что всего не упомнишь: ну, конечно, черные, кипящие смолой глаза, – ей-богу, так и написано: кипящие смолой! – черные, как ночь, ресницы, нежно играющий румянец, тонкий стан, длиннее обыкновенного руки, – понимаешь, длиннее обыкновенного! – маленькая ножка, в меру большая грудь, правильно округленная икра, колена цвета раковины, покатые плечи, – я многое почти наизусть выучила, так все это верно! – но главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, – ты послушай, как я вздыхаю, – ведь правда, есть?

Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в мире, в этом облачном небе, в этом холодном весеннем ветре.

Неизвестный друг

7 октября

На этой *carte-illustrée*[1] с таким печальным и величественным видом лунной ночи у берегов Атлантического океана спешу написать Вам мою горячую благодарность за Вашу последнюю книгу. Эти берега – моя вторая родина, это Ирландия, – видите, из какого далека шлет Вам привет один из Ваших неизвестных друзей. Будьте счастливы, и да сохранит Вас бог.

8 октября

Вот еще один вид той одинокой страны, куда навеки забросила меня судьба.

Вчера под ужасным дождем, – у нас вечный дождь, – ездила по делам в город, случайно купила Вашу книгу и читала ее, не отрываясь, на возвратном пути на виллу, где мы живем круглый год из-за моего слабого здоровья. От дождя, от туч почти темно, цветы и зелень в садах были необыкновенно яркие, пустой трамвай шел быстро, кидая фиолетовые вспышки, а я читала и, неизвестно почему,

чувствовала себя почти мучительно счастливой. Прощайте, еще раз благодарю Вас. Хочется еще что-то сказать Вам, но что? Не знаю, не умею определить.

10 октября

Не могу удержаться и опять пишу Вам. Думаю, что Вы получаете таких писем слишком много. Но ведь все это отклики именно тех человеческих душ, для которых и творите Вы. Так зачем же мне молчать? Вы первый вступили в общении со мной, выпустив в свет, то есть и для меня, свою книгу...

И нынче целый день сыплется дождь на наш неестественно зеленый сад, и в комнате у меня сумрачно, и с утра топится камин. Мне хотелось бы сказать Вам многое, но ведь Вы знаете лучше других, как это трудно, почти невозможно – высказывать себя. Я все еще под впечатлением чего-то непонятного и неразрешающегося, но прекрасного, чем я обязана Вам, – объясните, что это такое, это чувство? И что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческой умелости, силы? Воз-

бужденное желание личного счастья, которое всегда, всегда живет в нас и особенно оживает под влиянием чего-нибудь, действующего чувственно, – музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания, какого-нибудь запаха? Или же это радость ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, подобные Вам, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть? Вот я что-нибудь читаю, – иногда даже что-нибудь ужасное, – и вдруг говорю: боже, как это прекрасно! Что это значит? Может быть, это значит: как все-таки прекрасна жизнь!

До свиданья, скоро еще напишу Вам. Думаю, что в этом нет никакой не деликатности, что это принято – писать писателям. Кроме того, Вы ведь можете и не читать моих писем... хотя, конечно, мне это будет очень грустно.

Ночью

Простите, это может прозвучать дурно, но не могу не сказать: я не молода, у меня дочь пятнадцати лет, совсем уже барышня, но я

была когда-то не совсем дурна и не слишком резко изменилась с тех... Мне все-таки не хочется, чтобы Вы представляли себе меня не такой, какая я есть.

11 октября

Я написала Вам в силу потребности разделить с Вами то волнение, которое произвел на меня Ваш талант, действующий как печальная, но возвышенная музыка. Зачем это нужно – разделить? Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни и что в этом какая-то великая тайна. Ведь и Вы пишете только в силу этой потребности и даже более – Вы отдаете ей всего себя всецело.

Я всегда много читала, – и много вела дневников, как все неудовлетворенные жизнью люди, – много читаю и теперь, читала и Вас, но мало, больше знала Вас лишь по имени. И вот эта Ваша новая книга... Как это странно! Чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни малейшим намеком, – что мо-

жет выразить слово, даже такое, как Ваше! – и вот вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений, и Ваши мысли и чувства становятся моими, нашими общими. Поистине только одна, единая есть душа в мире. И разве не понятен после этого мой порыв написать Вам, что-то высказать, что-то разделить с Вами, на что-то пожаловаться? Разве Ваши произведения не то же самое, что мои письма к Вам? Ведь и Вы что-то и кому-то высказываете, посылаете свои строки кому-то неведомому и куда-то в пространство. Ведь и Вы жалуетесь, чаще всего только жалуетесь, потому что жалоба, иными словами, мольба о сочувствии наиболее неразлучна с человеком: сколько ее в песнях, молитвах, стихах, любовных излияниях!

Может быть, Вы ответите мне, хотя двумя словами? Ответьте!

13 октября

Опять пишу Вам ночью, уже в спальне, мучимая непонятным желанием сказать то, что так легко обозвать наивностью, что скажется, во всяком случае, не так, как чувствуется. А

хочется мне сказать, в сущности, очень немного: только то, что мне очень грустно, очень жаль себя – и что я все-таки счастлива этой грустью и тем, что мне жаль себя. Мне грустно думать, что я где-то в чужой стране, на самых западных берегах Европы, на какой-то вилле за городом, среди осенней ночной темноты и тумана с моря, идущего вплоть до Америки. Грустно, что я одна не только в этой уютной и прелестной комнате, но и во всем мире. И всего грустней, что Вы, которого я выдумала и от которого уже чего-то жду, так бесконечно далеко от меня и так мне неведомы и, конечно, что бы я там ни говорила, так чужды мне и так правы в этом...

В сущности, все в мире прелестно, даже вот этот абажур на лампе, и ее золотистый свет, и сверкающее белье на моей уже открытой постели, и мой халат, моя нога в туфле, и моя худая рука в широком рукаве. И всего бесконечно жаль: к чему все? Все проходит, все пройдет, и все тщетно, как и мое вечное ожидание чего-то, заменяющее мне жизнь...

Очень прошу, напишите мне. Конечно,

два-три слова, только для того, чтобы я знала, что Вы слышите меня. Простите мою настойчивость.

15 октября

Это наш город, наш собор. Пустынные скалистые берега моя первая *carte-postale*[2] к Вам, – дальше, севернее. Но и город, собор – все упрямо, черно у нас. Гранит, шифер, асфальт и дождь, дождь...

Да, напишите мне кратко, я очень хорошо понимаю, что Вам нечего сказать мне, кроме двух-трех слов, и, поверьте, ничуть не буду в обиде. Но напишите, напишите!

21 октября

Увы, письма от Вас нет. А прошло уже пятнадцать дней с тех пор, как я написала Вам в первый раз...

Но, может быть, Ваш издатель еще не переслал Вам моих писем? Может быть, Вас отвлекают срочные занятия, светская жизнь? Это очень грустно, но все же лучше, чем думать, что Вы просто пренебрегли моей просьбой. Думать так очень обидно и больно. Вы скаже-

те, что я не имею никакого права на Ваше внимание и что, следовательно, ни обиде, ни боли не может быть места. Но точно ли не имею я этого права? А может быть, оно уже есть у меня, раз я испытала известные чувства к Вам? Разве был, например, хоть один Ромео, который не требовал взаимности даже и без всяких оснований, или Отелло, который ревновал бы по праву? Оба они говорят: раз я люблю, как можно не любить меня, как можно изменять мне? Это не простое хотение, чтобы меня любили, это гораздо сложнее и больше. Раз и что-нибудь или кого-нибудь люблю, это уже мое, во мне... Впрочем, не умею объяснить Вам этого как следует, знаю только, что так казалось и кажется людям всегда...

Впрочем, как бы там ни было, а ответа от Вас нет, а я опять пишу. Неожиданно выдумала, что Вы мне чем-то близки, – хотя опять-таки выдумала ли? – и сама поверила своей выдумке и упорно стала писать Вам и уже знаю, что чем больше буду писать Вам, тем все необходимее будет для меня делить это, потому что все более будет усиливаться какая-то

связь между мною и Вами. Я Вас не представляю себе, совсем не вижу даже Вашего физического облика. Так кому же я пишу? Самой себе? Но все равно. Ведь и я – Вы.

22 октября

Нынче дивный день, на душе у меня легко, окна открыты, и солнце и теплый воздух напоминают о весне. Станный этот край! Летом дождливо и холодно, осенью, зимой дождливо и тепло, но порой выпадают такие прекрасные дни, что не знаешь: зима это или итальянская весна? О, Италия, Италия и мои восемнадцать лет, мои надежды, моя радостная доверчивость, мои ожидания на пороге жизни, которая была вся впереди и вся в солнечном тумане, как горы, долины и цветущие сады вокруг Везувия! Простите, знаю, что все это слишком не ново, но что мне до того?

Ночью

Может быть, Вы оттого не писали мне, что я для Вас слишком отвлеченна? Тогда вот еще несколько черт моей жизни. Я уже шестнадцать лет замужем. Мой муж француз, я по-

знакомилась с ним однажды зимой на французской Ривьере, венчалась в Риме, а после свадебного путешествия по Италии навсегда поселилась здесь. У меня трое детей, мальчик и две девочки. Люблю ли я их? Да, но все же не так, как чаще всего любят матери, видящие жизнь только в семье, в детях. Пока дети были маленькими, я за ними непрестанно ухаживала, разделяла с ними все их игры и занятия, но теперь они во мне больше не нуждаются, и у меня много свободного времени, которое я провожу в чтении. Родные мои далеко, наши жизни разошлись, и общих интересов у нас так мало, что мы даже переписываемся очень редко. В связи с положением моего мужа мне часто приходится бывать в обществе, принимать и отдавать визиты, бывать на вечерах и обедах. Но друзей и подруг у меня нет. На здешних дам я не похожа, а в дружбу между мужчиной и женщиной я не верю...

Но довольно обо мне. Если ответите, скажите хоть что-нибудь о себе. Какой Вы? Где постоянно живете? Любите ли Вы Шекспира или Шелли, Гёте или Данте, Бальзака или

Флобера? Любите ли музыку и какую? Женаты ли Вы? Связаны ли Вы уже наскучившей связью или у Вас есть невеста в той нежной и прекрасной поре, когда все ново и радостно, когда еще нет воспоминаний, которые только томят, обманывают, будто было счастье, непонятное и неиспользованное?

1 ноября

Письма от Вас нет. Какое мучение! Такое мучение, что я иногда проклинаяю день и час, когда решилась написать Вам...

И хуже всего то, что из этого нет выхода. Сколько бы я ни уверяла себя, что мне нечего ждать, я все-таки жду: кто же может поручиться, что его действительно не будет? Ах, если бы твердо знать, что Вы не напишете! Я была бы и этим счастлива. Впрочем, нет, нет, надеяться все-таки лучше. Я надеюсь, я жду!

3 ноября

Письма нет, и мои мучения продолжают-ся... Впрочем, тяжелы только утренние часы, когда я с неестественным спокойствием и медлительностью, но с холодными от скрыто-

го волнения руками одеваюсь, выхожу к кофе, прохожу музыкальный урок с дочерью, которая разучивает его так трогательно-прилежно и сидит за пианино так прямо, так прелестно прямо, как умеют это только девочки по пятнадцатому году. В полдень приходит наконец почта, я бросаюсь к ней, ничего не нахожу – и почти успокаиваюсь до следующего утра...

А нынче опять прелестный день. Низкое солнце ясно и кротко. В саду много голых, черных деревьев, цветут осенние цветы. И что-то тонкое, голубое, необыкновенно прекрасное в долинах, за ветвями сада. И в сердце благодарность кому-то и за что-то. За что? Ведь ничего нет и не будет... хотя так ли это, точно ли ничего нет, раз она есть, эта умиляющая душу благодарность?

Благодарю и Вас за то, что Вы дали мне возможность выдумать Вас. Вы меня никогда не узнаете, никогда не встретите, но и в этом много печальной прелести. И быть может, хорошо, что Вы не пишете, что Вы не написали мне ни слова и что я совсем не вижу Вас живым. Разве я могла бы говорить с Вами и чув-

ствовать Вас так, как сейчас, если бы я Вас знала, даже если бы имела хоть одно письмо от Вас? Вы непременно были бы уже не такой, непременно чуть-чуть хуже, и мне было бы менее свободно писать Вам...

Свежеет, а я все не закрываю окна и все смотрю в голубую дымку низменностей и холмов за садом. И это голубое мучительно прекрасно, мучительно потому, что непременно нужно что-то сделать с ним. Что сделать? Я не знаю. Мы ничего не знаем!

5 ноября

Это похоже на дневник, но это все-таки не дневник, потому что теперь у меня есть читатель, хотя бы и предполагаемый...

Что побуждает писать Вас? Желание рассказать что-нибудь или высказать (хотя бы иносказательно) себя? Конечно, второе. Девять десятых писателей, даже самых славных, только рассказчики, то есть, в сущности, не имеют ничего общего с тем, что может достойно называться искусством. А что такое искусство? Молитва, музыка, песня человеческой души... Ах, если бы оставить после себя

хоть несколько строк о том, что вот и я жила, любила, радовалась, что и у меня была молодость, весна, Италия... что есть далекая страна на берегах Атлантического океана, где я живу, люблю и все еще чего-то жду даже и теперь... что есть в этом океане дикие и бедные острова и дикая, бедная жизнь каких-то чуждых всему миру людей, ни происхождения, ни темного языка, ни цели существования которых не знает и никогда не узнает никто...

Я все-таки жду, жду письма. Теперь это уже как бы навязчивая идея, род душевной болезни.

7 ноября

Да, все дивно. Письма, конечно, нет, нет и нет. И представьте себе: потому что нет этого письма, нет ответа от человека, которого я никогда не видала и не увижу, нет отклика на мой голос, брошенный куда-то вдаль, в свою мечту, у меня чувство страшного одиночества, страшной пустоты мира. Пустоты, пустоты!

И опять дождь, туман, будни. И это даже хорошо, то есть обычно, так, как надо. Это ме-

ня успокаивает.

До свидания, да простит Вам бог Вашу жестокость. Да, все-таки это жестоко.

8 ноября

Три часа, а уже совсем сумерки от тумана и дождя. А в пять у нас чай с гостями.

Приедут под дождем, в автомобилях, из мрачного города, который в дождь еще чернее, со своим черным мокрым асфальтом, черными мокрыми крышами и черным гранитным собором, острие которого уносится в дождь и мглу...

Я уже одета и как бы жду выхода на сцену. Жду того момента, когда я буду говорить все то, что полагается, буду любезна, оживленна, заботлива и только немного бледна, что так легко объяснить этой ужасной погодой. И, одетая, я как будто помолодела, чувствую себя старшей сестрой своей дочери и каждую минуту готова заплакать. Я все-таки пережила что-то странное, похожее на любовь. К кому? В силу чего?

Прощайте, я уже ничего не жду – говорю это совершенно искренне.

10 ноября

Прощайте, мой верный друг. Кончаю свои безответные письма тем же, чем и начала, – благодарностью. Благодарю Вас, что Вы не отозвались. Было бы хуже, если бы было иначе. Что бы Вы могли сказать мне? И на чем могли бы мы с Вами, без чувства неловкости, прервать переписку? И что бы я нашла сказать Вам еще, кроме сказанного? Больше у меня ничего нет – я все сказала. В сущности, о всякой человеческой жизни можно написать только две-три строки. О, да. Только две-три строки.

Со странным чувством, точно я кого-то потеряла, опять остаюсь одна, со своим домом, близостью туманного океана, осенними и зимними буднями. И опять возвращаюсь к дневнику, странную надобность которого, равно как и Ваших писаний, знает только бог.

Несколько дней тому назад видела Вас во сне. Вы были какой-то странный, молчаливый, сидели в углу темной комнаты и были не видны. А все-таки я Вас видела. Я и во сне чувствовала: как можно видеть во сне того,

кого никогда не видел в жизни? Ведь только бог творит из ничего? И мне было очень жутко, и я проснулась в страхе, с тяжелым чувством.

Через пятнадцать, двадцать лет не будет, вероятно, ни меня, ни Вас в этом мире. До встречи в ином! Кто может быть уверен, что его нет? Ведь мы не понимаем даже своих собственных снов, созданий своего собственного воображения. Наше ли оно, это воображение, то есть, говоря точнее, то, что мы называем нашим воображением, нашими выдумками, нашими мечтами? Нашей ли воле подчиняемся мы, стремясь к той или иной душе, как я стремлюсь к Вашей?

Прощайте. Или нет, все-таки до свидания.

Приморские Альпы. 1923

Солнечный удар

После обеда вышли из ярко и горячо освещенной столовой на палубу и остановились у поручней. Она закрыла глаза, ладонью наружу приложила руку к щеке, засмеялась простым прелестным смехом, – все было прелестно в этой маленькой женщине, – и сказала:

– Я, кажется, пьяна... Откуда вы взялись? Три часа тому назад я даже не подозревала о вашем существовании. Я даже не знаю, где вы сели. В Самаре? Но все равно... Это у меня голова кружится или мы куда-то поворачиваем?

Впереди была темнота и огни. Из темноты бил в лицо сильный, мягкий ветер, а огни неслись куда-то в сторону: пароход с волжским щегольством круто описывал широкую дугу, подбегая к небольшой пристани.

Поручик взял ее руку, поднес к губам. Рука, маленькая и сильная, пахла загаром. И блаженно и страшно замерло сердце при мысли, как, вероятно, крепка и смугла она вся под этим легким холстинковым платьем после

целого месяца лежанья под южным солнцем, на горячем морском песке (она сказала, что едет из Анапы). Поручик пробормотал:

– Сойдем...

– Куда? – спросила она удивленно.

– На этой пристани.

– Зачем?

Он промолчал. Она опять приложила тыл руки к горячей щеке:

– Сумасшествие...

– Сойдем, – повторил он тупо. – Умоляю вас...

– Ах. Да делайте, как хотите, – сказала она, отворачиваясь.

Разбежавшийся пароход с мягким стуком ударился в тускло освещенную пристань, и они чуть не упали друг на друга. Над головами пролетел конец каната, потом понесло назад, и с шумом закипела вода, загремели сходни... Поручик кинулся за вещами.

Через минуту они прошли сонную конторку, вышли на глубокий, по ступицу, песок и молча сели в запыленную извозчичью пролетку. Отлогий подъем в гору, среди редких кривых фонарей, по мягкой от пыли дороге,

показался бесконечным. Но вот поднялись, выехали и затрещали по мостовой, вот какая-то площадь, присутственные места, каланча, тепло и запахи ночного летнего уездного города... Извозчик остановился возле освещенного подъезда, за раскрытыми дверями которого круто поднималась старая деревянная лестница, старый, небритый лакей в розовой косоворотке и в сюртуке недовольно взял вещи и пошел на своих растоптанных ногах вперед. Вошли в большой, но страшно душный, горячо накаленный за день солнцем номер с белыми опущенными занавесками на окнах и двумя необожженными свечами на подзеркальнике, – и как только вошли и лакей затворил дверь, поручик так порывисто кинулся к ней и оба так исступленно задохнулись в поцелуе, что много лет вспоминали потом эту минуту: никогда ничего подобного не испытал за всю жизнь ни тот, ни другой.

В десять утра, солнечного, жаркого, счастливого, со звоном церквей, с базаром на площади перед гостиницей, с запахом сена, дегтя и опять всего того сложного и пахучего, чем

пахнет русский уездный город, она, эта маленькая безымянная женщина, так и не сказавшая своего имени, шутя называвшая себя прекрасной незнакомкой, уехала. Спали мало, но утром, выйдя из-за ширмы возле кровати, в пять минут умывшись и одевшись, она была свежа, как в семнадцать лет. Смущена ли была она? Нет, очень немного. По-прежнему была проста, весела и – уже рассудительна.

– Нет, нет, милый, – сказала она в ответ на его просьбу ехать дальше вместе, – нет, вы должны остаться до следующего парохода. Если поедем вместе, все будет испорчено. Мне это будет очень неприятно. Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли обо мне подумать. Никогда ничего даже похожего на то, что случилось, со мной не было, да и не будет больше. На меня точно затмение нашло... Или, вернее, мы оба получили что-то вроде солнечного удара...

И поручик как-то легко согласился с нею. В легком и счастливом духе он довез ее до пристани, – как раз к отходу розового «Самолета», – при всех поцеловал на палубе и едва

успел вскочить на сходни, которые уже двинули назад.

Так же легко, беззаботно и возвратился он в гостиницу. Однако что-то уж изменилось. Номер без нее показался каким-то совсем другим, чем был при ней. Он был еще полон ею – и пуст. Это было странно! еще пахло ее хорошим английским одеколоном, еще стояла на подносе ее недопитая чашка, а ее уже не было... И сердце поручика вдруг сжалось такой нежностью, что поручик поспешил закурить и несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.

– Странное приключение! – сказал он вслух, смеясь и чувствуя, что на глаза его навертываются слезы. – «Даю вам честное слово, что я совсем не то, что вы могли подумать...» И уже уехала...

Ширма была отодвинута, постель еще не убрана. И он почувствовал, что просто нет сил смотреть теперь на эту постель. Он закрыл ее ширмой, затворил окна, чтобы не слышать базарного говора и скрипа колес, опустил белые пузырившиеся занавески, сел на диван... Да, вот и конец этому «дорожному

приключению!»! Уехала – и теперь уже далеко, сидит, вероятно, в стеклянном белом салоне или на палубе и смотрит на огромную, блестящую под солнцем реку, на встречные плоты, на желтые отмели, на сияющую даль воды и неба, на весь этот безмерный волжский простор... И прости, и уже навсегда, навеки... Потому что где же они теперь могут встретиться? «Не могу же я, – подумал он, – не могу же я ни с того ни с сего приехать в этот город, где ее муж, где ее трехлетняя девочка, вообще вся ее семья и вся ее обычная жизнь!» И город этот показался ему каким-то особенным, заповедным городом, и мысль о том, что она так и будет жить в нем своей одинокой жизнью, часто, может быть, вспоминая его, вспоминая их случайную, такую мимолетную встречу, а он уже никогда не увидит ее, мысль эта изумила и поразила его. Нет, этого не может быть! Это было бы слишком дико, неестественно, неправдоподобно! И он почувствовал такую боль и такую ненужность всей своей дальнейшей жизни без нее, что его охватил ужас, отчаяние.

«Что за черт! – подумал он, вставая, опять

принимаясь ходить по комнате и стараясь не смотреть на постель за ширмой. – Да что же это такое со мной? И что в ней особенного и что, собственно, случилось? В самом деле, точно какой-то солнечный удар! И главное, как же я проведу теперь, без нее, целый день в этом захолустье?»

Он еще помнил ее всю, со всеми малейшими ее особенностями, помнил запах ее загара и холстинкового платья, ее крепкое тело, живой, простой и веселый звук ее голоса... Чувство только что испытанных наслаждений всей ее женской прелестью было еще живо в нем необыкновенно, но теперь главным было все-таки это второе, совсем новое чувство – то странное, непонятное чувство, которого совсем не было, пока они были вместе, которого он даже предположить в себе не мог, затеяв вчера это, как он думал, только забавное знакомство, и о котором уже нельзя было сказать ей теперь! «А главное, – подумал он, – ведь и никогда уже не скажешь! И что делать, как прожить этот бесконечный день, с этими воспоминаниями, с этой неразрешимой мукой, в этом богом забытом городишке над той

самой сияющей Волгой, по которой унес ее этот розовый пароход!»

Нужно было спастись, чем-нибудь занять, отвлечь себя, куда-нибудь идти. Он решительно надел картуз, взял стек, быстро прошел, звеня шпорами, по пустому коридору, сбежал по крутой лестнице на подъезд... Да, но куда идти? У подъезда стоял извозчик, молодой, в ловкой поддевке, и спокойно курил сигарку. Поручик взглянул на него растерянно и с изумлением: как это можно так спокойно сидеть на козлах, курить и вообще быть простым, беспечным, равнодушным? «Вероятно, только я один так страшно несчастен во всем этом городе», – подумал он, направляясь к базару.

Базар уже разъезжался. Он зачем-то походил по свежему навозу среди телег, среди возов с огурцами, среди новых мисок и горшков, и бабы, сидевшие на земле, наперебой зывали его, брали горшки в руки и стучали, звенели в них пальцами, показывая их добротность, мужики оглушали его, кричали ему: «Вот первый сорт огурчики, ваше благородие!» Все это было так глупо, нелепо, что он

бежал с базара. Он пошел в собор, где пели уже громко, весело и решительно, с сознанием исполненного долга, потом долго шагал, кружил по маленькому, жаркому и запущенному садику на обрыве горы, над неоглядной светло-стальной ширью реки... Погоны и пуговицы его кителя так нажгло, что к ним нельзя было прикоснуться. Околыш картуза был внутри мокрый от пота, лицо пылало... Возвратясь в гостиницу, он с наслаждением вошел в большую и пустую прохладную столовую в нижнем этаже, с наслаждением снял картуз и сел за столик возле открытого окна, в которое несло жаром, но все-таки веяло воздухом, заказал ботвинью со льдом... Все было хорошо, во всем было безмерное счастье, великая радость: даже в этом зное и во всех базарных запахах, во всем этом незнакомом городишке и в этой старой уездной гостинице была она, эта радость, а вместе с тем сердце просто разрывалось на части. Он выпил несколько рюмок водки, закусывая малосольными огурцами с укропом и чувствуя, что он, не задумываясь, умер бы завтра, если бы можно было каким-нибудь чудом вернуть ее, про-

вести с ней еще один, нынешний день, – провести только затем, только затем, чтобы высказать ей и чем-нибудь доказать, убедить, как он мучительно и восторженно любит ее... Зачем доказать? Зачем убедить? Он не знал зачем, но это было необходимее жизни.

– Совсем разгулялись нервы! – сказал он, наливая пятую рюмку водки.

Он отодвинул от себя ботвинью, спросил черного кофе и стал курить и напряженно думать: что же теперь делать ему, как избавиться от этой внезапной, неожиданной любви? Но избавиться – он это чувствовал слишком живо – было невозможно. И он вдруг опять быстро встал, взял картуз и стек и, спросив, где почта, торопливо пошел туда с уже готовой в голове фразой телеграммы: «Отныне вся моя жизнь навеки, до гроба, ваша, в вашей власти». Но, дойдя до старого толстостенного дома, где была почта и телеграф, в ужасе остановился: он знал город, где она живет, знал, что у нее есть муж и трехлетняя дочка, но не знал ни фамилии, ни имени ее! Он несколько раз спрашивал ее об этом вчера за обедом и в гостинице, и каждый раз она смея-

лась и говорила:

– А зачем вам нужно знать, кто я, как меня зовут?

На углу, возле почты, была фотографическая витрина. Он долго смотрел на большой портрет какого-то военного в густых эполетах, с выпуклыми глазами, с низким лбом, с поразительно великолепными бакенбардами и широчайшей грудью, сплошь украшенной орденами... Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце поражено, – да, поражено, он теперь понимал это, – этим страшным «солнечным ударом», слишком большой любовью, слишком большим счастьем! Он взглянул на чету новобрачных – молодой человек в длинном сюртуке и белом галстуке, стриженный ежиком, вытянувшийся во фронт, под руку с девицей в подвенечном газе, – перевел глаза на портрет какой-то хорошенькой и задорной барышни в студенческом картузе набекрень... Потом, томясь мучительной завистью ко всем этим неизвестным ему, не страдающим людям, стал напряженно смотреть вдоль улицы.

Куда идти? Что делать?

Улица была совершенно пуста. Дома были все одинаковые, белые, двухэтажные, купеческие, с большими садами, и казалось, что в них нет ни души; белая густая пыль лежала на мостовой; и все это слепило, все было залито жарким, пламенным и радостным, но здесь как будто бесцельным солнцем. Вдали улица поднималась, горбатилась и упиралась в безоблачный, сероватый, с отблеском небосклон. В этом было что-то южное, напоминающее Севастополь, Керчь... Анапу. Это было особенно нестерпимо. И поручик, с опущенной головой, щурясь от света, сосредоточенно глядя себе под ноги, шатаясь, спотыкаясь, цепляясь шпорой за шпору, зашагал назад.

Он вернулся в гостиницу настолько разбитый усталостью, точно совершил огромный переход где-нибудь в Туркестане, в Сахаре. Он, собирая последние силы, вошел в свой большой и пустой номер. Номер был уже прибран, лишен последних следов ее, только одна шпилька, забытая ею, лежала на ночном столике! Он снял китель и взглянул на себя в зеркало: лицо его – обычное офицерское лицо, серое от загара, с белесыми, выгоревшими

от солнца усами и голубоватой белизной глаз, от загара казавшихся еще белее, – имело теперь возбужденное, сумасшедшее выражение, а в белой тонкой рубашке со стоячим крахмальным воротничком было что-то юное и глубоко несчастное. Он лег на кровать на спину, положил запыленные сапоги на отвал. Окна были открыты, занавески опущены, и легкий ветерок от времени до времени надувал их, веял в комнату зноем нагретых железных крыш и всего этого светоносного и совершенно теперь опустевшего, безмолвного волжского мира. Он лежал, подложив руки под затылок, и пристально глядел перед собой. Потом стиснул зубы, закрыл веки, чувствуя, как по щекам катятся из-под них слезы, и наконец заснул, а когда снова открыл глаза, за занавесками уже красновато желтело вечернее солнце. Ветер стих, в номере было душно и сухо, как в духовой печи... И вчерашний день и нынешнее утро вспомнились так, точно они были десять лет тому назад.

Он не спеша встал, не спеша умылся, поднял занавески, позвонил и спросил самовар и счет, долго пил чай с лимоном. Потом прика-

зал привести извозчика, вынести вещи и, сядя в пролетку, на ее рыжее, выгоревшее сиденье, дал лакею целых пять рублей.

– А похоже, ваше благородие, что это я и привез вас ночью! – весело сказал извозчик, берясь за вожжи.

Когда спустились к пристани, уже синела над Волгой синяя летняя ночь, и уже много разноцветных огоньков было рассеяно по реке, и огни висели на мачтах подбегающего парохода.

– В аккурат доставил! – сказал извозчик заискивающе.

Поручик и ему дал пять рублей, взял билет, прошел на пристань... Так же, как вчера, был мягкий стук в ее причал и легкое головокружение от зыбкости под ногами, потом летящий конец, шум закипевшей и побежавшей вперед воды под колесами несколько назад подавшегося парохода... И необыкновенно приветливо, хорошо показалось от многолюдства этого парохода, уже везде освещенного и пахнущего кухней.

Через минуту побежали дальше, вверх, туда же, куда унесло и ее давеча утром.

Темная летняя заря потухала далеко впереди, сумрачно, сонно и разноцветно отражаясь в реке, еще кое-где светившейся дрожащей рябью вдали под ней, под этой зарей, и плыли и плыли назад огни, рассеянные в темноте вокруг.

Поручик сидел под навесом на палубе, чувствуя себя постаревшим на десять лет.

Приморские Альпы. 1925

Ида

Однажды на Святках завтракали мы вчетвером – три старых приятеля и некто Георгий Иванович – в Большом Московском.

По случаю праздника в Большом Московском было пусто и прохладно. Мы прошли старый зал, бледно освещенный серым морозным днем, и приостановились в дверях нового, выбирая, где поуютней сесть, оглядывая столы, только что покрытые белоснежными тугими скатертями. Сияющий чистотой и любовью распорядитель сделал скромный и изысканный жест в дальний угол, к круглому столу перед полукруглым диваном. Пошли туда.

– Господа, – сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, – господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. Раскиньте же нам, служающий, самобраную скатерть как можно щедрее, – сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. – Вы мои королевские замашки знаете.

– Как не знать, пора наизусть выучить, – сдержанно улыбаясь и ставя перед ним пепельницу, ответил старый умный половой с чистой серебряной бородкой. – Будьте покойны, Павел Николаевич, постараемся...

И через минуту появились перед нами рюмки и фужеры, бутылки с разноцветными водками, розовая семга, смугло-телесный балык, блюдо с раскрытыми на ледяных осколках раковинами, оранжевый квадрат честера, черная блестящая глыба паюсной икры, белый и потный от холода ушат с шампанским... Начали с перцовки. Композитор любил наливать сам. И он налил три рюмки, потом шутливо замедлился:

– Святейший Георгий Иванович, и вам позволите?

Георгий Иванович, имевший единственное и престранное занятие – быть другом известных писателей, художников, артистов, – человек весьма тихий и неизменно прекрасно настроенный, нежно покраснел – он всегда краснел перед тем, как сказать что-нибудь, – и ответил с некоторой бесшабашностью и развязностью:

– Даже и очень, грешнейший Павел Николаевич!

И композитор налил и ему, легонько стукнул рюмкой о наши рюмки, махнул водку в рот со словами: «Дай боже!» – и, дуя себе в усы, принялся за закуски. Принялись и мы, и занимались этим делом довольно долго. Потом заказали уху и закурили. В старой зале нежно и грустно запела, укоризненно зарычала машина. И композитор, откинувшись к спинке дивана, затягиваясь папиросой и, по своему обыкновению, набирая в свою высоко поднятую грудь воздуху, сказал:

– Дорогие друзья, мне, невзирая на радость утробы моей, нынче грустно. А грустно мне потому, что вспомнилась мне нынче, как только я проснулся, одна небольшая история, случившаяся с одним моим приятелем, форменным, как оказалось впоследствии, ослом, ровно три года тому назад, на второй день Рождества...

– История небольшая, но, вне всякого сомнения, амурная, – сказал Георгий Иванович со своей девичьей улыбкой.

Композитор покосился на него. – Амур-

ная? – сказал он холодно и насмешливо. – Ах, Георгий Иванович, Георгий Иванович, как вы будете за всю вашу порочность и беспощадный ум на Страшном суде отвечать? Ну, да бог с вами. «Je veux un tresor qui les contient tous, je veux la jeunesse!»[3] – поднимая брови, запел он под машину, игравшую Фауста, и продолжал, обращаясь к нам: – Друзья мои, вот эта история. В некоторое время в некотором царстве ходила в дом некоего господина некоторая девица, подруга его жены по курсам, настолько незатейливая, милая, что господин звал ее просто Идой, то есть только по имени. Ида да Ида, он даже отчества ее не знал хорошенько. Знал только, что она из порядочной, но малосостоятельной семьи, дочь музыканта, бывшего когда-то известным дирижером, живет при родителях, ждет, как предполагается, жениха – и больше ничего...

Как вам описать эту Иду? Расположение господин чувствовал к ней большое, но внимания, повторяю, обращал на нее, собственно говоря, ноль. Придет она – он к ней: «А-а... Ида, дорогая! Здравствуйтесь, здравствуйтесь, душевно рад вас видеть!» А она в ответ только

улыбается, прячет носовой платочек в муфту, глядит ясно, по-девичьи (и немножко бессмысленно): «Маша дома?» – «Дома, дома, милости просим...» – «Можно к ней?» И спокойно идет через столовую к дверям Маши: «Маша, к тебе можно?» Голос грудной, до самых жабр волнующий, а к этому голосу прибавьте все прочее: свежесть молодости, здоровья, благоухание девушки, только что вошедшей в комнату с мороза... затем довольно высокий рост, стройность, редкую гармоничность и естественность движений... Было и лицо у нее редкое – на первый взгляд как будто совсем обыкновенное, а приглядишься – залюбуешься: тон кожи ровный, теплый – тон какого-нибудь самого первого сорта яблока, – цвет фиалковых глаз живой, полный...

Да, приглядишься – залюбуешься. А этот болван, то есть герой нашего рассказа, поглядит, придет в телячий восторг, скажет: «Ах, Ида, Ида, цены вы себе не знаете!», увидит ее ответную, милую, но как будто не совсем внимательную улыбку – и уйдет к себе, в свой кабинет, и опять займется какой-нибудь чепухой, называемой творчеством, черт бы его по-

брал совсем. И так вот и шло время, и так наш господин даже никогда и не задумался об этой самой Иде мало-мальски серьезно – и совершенно, можете себе представить, не заметил, как она в одно прекрасное время исчезла куда-то. Нет и нет Иды, а он даже не догадывается у жены спросить: а куда же, мол, наша Ида девалась? Вспомнит иной раз, почувствует, что ему чего-то недостает, вообразит сладкую муку, с которой он мог бы обнять ее стан, мысленно увидит ее беличью муфточку, цвет ее лица и фиалковых глаз, ее прелестную руку, ее английскую юбку, затоскует на минуту – и опять забудет. И прошел таким образом год, прошел другой... Как вдруг понадобилось однажды ему ехать в западный край...

Дело было на самое Рождество. Но невзирая на то ехать было необходимо. И вот, простясь с рабами и домочадцами, сел наш господин на борзого коня и поехал. Едет день, едет ночь и доезжает, наконец, до большой узловой станции, где нужно пересаживаться. Но доезжает, надо заметить, со значительным опозданием и посему, как только стал поезд замедлять возле платформы ход, выскакивает

из вагона, хватает за шиворот первого попавшегося носильщика и кричит: «Не ушел еще курьерский туда-то?» А носильщик вежливо усмехается и молвит: «Только что ушел-с. Ведь вы на целых полтора часа изволили опоздать». – «Как, негодяй? Ты шутишь? Что ж я теперь делать буду? В Сибирь тебя, на торгу, на плаху!» – «Мой грех, мой грех, – отвечает носильщик, – да повинную голову и меч не сечет, ваше сиятельство. Извольте подождать пассажирского...» И поник головой и покорно побрел наш знатный путешественник на станцию...

На станции же оказалось весьмалюдно и приятно, уютно, тепло. Уже с неделю несло вьюгой, и на железных дорогах все спуталось, все расписания пошли к черту, на узловых станциях было полным-полно. То же самое было, конечно, и здесь. Везде народ и вещи, и весь день открыты буфеты, весь день пахнет кушаньями, самоварами, что, как известно, очень неплохо в мороз и вьюгу. А кроме того, был этот вокзал богатый, просторный, так что мгновенно почувствовал путешественник, что не было бы большой беды просидеть в

нем даже сутки. «Приведу себя в порядок, потом изрядно закушу и выпью», – с удовольствием подумал он, входя в пассажирскую залу, и тотчас же приступил к выполнению своего намерения. Он побрился, умылся, надел чистую рубашу и, выйдя через четверть часа из уборной помолодевшим на двадцать лет, направился к буфету. Там он выпил одну, затем другую, закусил сперва пирожком, потом жидовской щучкой и уже хотел было еще выпить, как вдруг услышал за спиной своей какой-то страшно знакомый, чудеснейший в мире женский голос. Тут он, конечно, порывисто обернулся – и можете себе представить, кого увидел перед собой? Иду!

От радости и удивления первую секунду он даже слова не мог произнести и только, как баран на новые ворота, смотрел на нее. А она – что значит, друзья мои, женщина! – даже бровью не моргнула. Разумеется, и она не могла не удивиться и даже изобразила на лице некоторую радость, но спокойствие, говорю, сохранила отменное. «Дорогой мой, – говорит, – какими судьбами? Вот приятная встреча!» И по глазам видно, что говорит

правду, но говорит уж как-то чересчур просто и совсем, совсем не с той манерой, как говорила когда-то, главное же... чуть-чуть насмешливо, что ли. А господин наш вполне опешил еще и оттого, что и во всем прочем совершенно неузнаваема стала Ида: как-то удивительно расцвела вся, как расцветает какой-нибудь великолепнейший цветок в чистой воде, в каком-нибудь таком хрустальном бокале, а соответственно с этим и одета: большой скромности, большого кокетства и дьявольских денег зимняя шляпка, на плечах тысячная соболья накидка... Когда господин неловко и смиренно поцеловал ее руку в ослепительных перстнях, она слегка кивнула шляпкой назад, через плечо небрежно сказала: «Познакомьтесь, кстати, с моим мужем», – и тотчас же быстро выступил из-за нее и скромно, но молодцом, по-военному, представился студент.

– Ах, наглец! – воскликнул Георгий Иванович. – Обыкновенный студент?

– Да в том-то и дело, дорогой Георгий Иванович, что необыкновенный, – сказал композитор с невеселой усмешкой. – Кажется, за

всю жизнь не видал наш господин такого, что называется, благородного, такого чудесного, мраморного юношеского лица. Одет щеголем: тужурка из того самого тонкого светло-серого сукна, что носят только самые большие франты, плотно облегающая ладный торс, панталоны со штрипками, темно-зеленая фуражка прусского образца и роскошная николаевская шинель с бобром. А при всем том симпатичен и скромнен тоже на редкость. Ида пробормотала одну из самых знаменитых русских фамилий, а он быстро снял фуражку рукой в белой замшевой перчатке, – в фуражке, конечно, мелькнуло красное муаровое дно, – быстро обнажил другую руку, тонкую, бледно-лазурную и от перчатки немножко как бы в муке, щелкнул каблуками и почтительно уронил на грудь небольшую и тщательно причесанную голову. «Вот так штука!» – еще изумленнее подумал наш герой, еще раз тупо взглянул на Иду – и мгновенно понял по взгляду, которым она скользнула по студенту, что, конечно, она царица, а он раб, но раб, однако, не простой, а несущий свое рабство с величайшим удовольствием и даже гордостью.

«Очень, очень рад познакомиться! – от всей души сказал этот раб и с бодрой и приятной улыбкой выпрямился. – И давний поклонник ваш, и много слышал о вас от Иды», – сказал он, дружелюбно глядя, и уже хотел было пуститься в дальнейшую, приличествующую случаю беседу, как неожиданно был перебит. «Помолчи, Петрик, не конфузь меня, – сказала Ида поспешно и обратилась к господину: – Дорогой мой, но я вас тысячу лет не видала! Хочется без конца говорить с вами, но совсем нет охоты говорить при нем. Ему неинтересны наши воспоминания, будет только скучно и от скуки неловко, поэтому пойдем походим по платформе...» И, сказав так, взяла она нашего путника под руку и повела на платформу, а по платформе ушла с ним чуть не за версту, где снег был чуть не по колено, и неожиданно изъяснилась там в любви к нему...

– То есть как в любви? – в один голос спросили мы.

Композитор вместо ответа опять набрал воздуха в грудь, надуваясь и поднимая плечи.

Он опустил глаза и, мешковато приподнявшись, потащил из серебряного ушата, из шур-

шащего льда, бутылку, налил себе самый большой фужер. Скулы его зарделись, короткая шея покраснела. Сгорбившись, стараясь скрыть смущение, он выпил вино до дна, затянул было под машину: «Laisse-moi, laisse-moi contempler ton visage!»[4], – но тотчас же оборвал и, решительно подняв на нас еще более сузившиеся глаза, сказал:

– Да, то есть так в любви... И объяснение это было, к несчастью, самое настоящее, совершенно серьезное. Глупо, дико, неожиданно, неправдоподобно? Да, разумеется, но – факт. Было именно так, как я вам докладываю. Пошли они по платформе, и тотчас начала она быстро и с притворным оживлением расспрашивать его о Маше, о том, как, мол, она поживает и как поживают их общие московские знакомые, что вообще новенького в Москве и так далее, затем сообщила, что замужем она уже второй год, что жили они с мужем это время частью в Петербурге, частью за границей, а частью в их имении под Витебском... Господин же только поспешно шел за ней – и уже чувствовал, что дело что-то неладно, что сейчас будет что-то дурацкое,

неправдоподобное, и во все глаза смотрел на белизну снежных сугробов, в невероятном количестве заваливших все и вся вокруг: все эти платформы, пути, крыши построек и красных и зеленых вагонов, сбившихся на всех путях... смотрел и с страшным замиранием сердца понимал только одно: то, что, оказывается, он уже много лет зверски любит эту самую Иду. И вот, можете себе представить, что произошло дальше: дальше произошло то, что на какой-то самой дальней, боковой платформе Ида подошла к каким-то ящикам, смахнула с одного из них снег муфтой, села и, подняв на господина свое слегка побледневшее лицо, свои фиалковые глаза, до умопомрачения неожиданно, без передышки сказала ему: «А теперь, дорогой, ответьте мне еще на один вопрос: знали ли вы и знаете ли вы теперь, что я любила вас целых пять лет и люблю до сих пор?»

Машина, до этой минуты рычавшая вдали неопределенно и глухо, вдруг загрохотала героически, торжественно и грозно.

Композитор смолк и поднял на нас как бы испуганные и удивленные глаза. Потом

негромко произнес:

– Да, вот что сказала она ему... А теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими человеческими словами? Что я могу сказать вам, кроме пошлостей, про это поднятое лицо, освещенное бледностью того особого снега, что бывает после метелей, и про нежнейший, неизъяснимый тон этого лица, тоже подобный этому снегу, вообще про лицо молодой, прелестной женщины, на ходу надышавшейся снежным воздухом и вдруг признавшейся вам в любви и ждущей от вас ответа на это признание? Что я сказал про ее глаза? Фиалковые? Не то, не то, конечно! А полураскрытые губы? А выражение, выражение всего этого в общем, вместе, то есть лица, глаз и губ? А длинная соболья муфта, в которую были спрятаны ее руки, а колени, которые обрисовывались под какой-то клетчатой сине-зеленой шотландской материей? Боже мой, да разве можно даже касаться словами всего этого! А главное, главное: что же можно было ответить на это сногшибательное по неожиданности, ужасу и счастью признание, на выжидающее выражение этого довер-

чиво поднятого, побледневшего и искажившегося (от смущения, от какого-то подобия улыбки) лица?

Мы молчали, тоже не зная, что сказать, что ответить на все эти вопросы, с удивлением глядя на сверкающие глазки и красное лицо нашего приятеля. И он сам ответил себе:

– Ничего, ничего, ровно ничего! Есть мгновения, когда ни единого звука нельзя вымолвить. И к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего и не вымолвил. И она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув теплую руку из теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой доски, но и в могиле. Да-с, только и всего: поцеловала – и ушла. И тем вся эта история и кончилась... И вообще, довольно об этом, – вдруг резко меняя тон, сказал композитор и громко, с напускной веселостью прибавил: – И давайте по сему

случаю пить на сломную голову! Пить за всех любивших нас, за всех, кого мы, идиоты, не оценили, с кем мы были счастливы, блаженны, а потом разошлись, растерялись в жизни навсегда и навеки и все же навеки связаны самой страшной в мире связью! И давайте условимся так: тому, кто в добавление ко всему вышеизложенному прибавит еще хоть единое слово, я пущу в череп вот этой самой шампанской бутылкой. Услужайший! – закричал он на всю залу. – Несите уху! И хересу, хересу, бочку хересу, чтобы я мог окунуть в него морду прямо с рогами!

Завтракали мы в этот день до одиннадцати часов вечера. А после поехали к Яру, а от Яра – в Стрельну, где перед рассветом ели блины, потребовали водки самой простой, с красной головкой, и вели себя в общем возмутительно: пели, орали и даже плясали казачка. Композитор плясал молча, свирепо и восторженно, с легкостью, необыкновенной для его фигуры. А неслись мы на тройке домой уже совсем утром, страшно морозным и розовым. И когда неслись мимо Страстного монастыря, показалось из-за крыш ледяное крас-

ное солнце и с колокольни сорвался первый, самый как будто тяжкий и великолепный удар, потрясший всю морозную Москву, и композитор вдруг сорвал с себя шапку и что есть силы, со слезами закричал на всю площадь:

– Солнце мое! Возлюбленная моя! Ура-а!

Приморские Альпы. 1925

Дело корнета Елагина

I

Ужасное дело это – дело странное, загадочное, неразрешимое. С одной стороны, оно очень просто, а с другой – очень сложно, похоже на бульварный роман, – так все и называли его в нашем городе, – и в то же время могло бы послужить к созданию глубокого художественного произведения... Вообще справедливо сказал на суде защитник.

– В этом деле, – сказал он в начале своей речи, – нет как будто места для спора между мной и представителем обвинения, ведь подсудимый сам признал себя виновным, ведь его преступление и его личность, равно как и личность его жертвы, волю которой он будто бы изнасиловал, кажутся чуть ли не всем, в этой зале присутствующим, недостойными особого мудрствования по их якобы достаточной пустоте и обыденности. Но все это совсем не так, все это только одна видимость; спорить есть о чем, поводов для спора и размыш-

лений очень много...

И далее:

– Допустим, что моя цель – добиться только снисхождения подсудимому. Я бы мог тогда сказать немного. Законодатель не указал, чем именно должны судьи руководствоваться в случаях, подобных нашему, он оставил большой простор их разумению, совести и зоркости, которым и надлежит в конце концов подобрать ту или иную рамку закона, наказующего деяние. И вот я и постарался бы воздействовать на это разумение, на совесть, постарался бы выставить на первое место все лучшее, что есть в подсудимом, и все, что смягчает его вину, будил бы в судьях чувства добрые, и делал бы это тем настойчивее, что ведь он отрицает лишь одно в своем поступке: сознательную злую волю. Однако даже и в этом случае мог ли бы я избежать спора с обвинителем, определившим преступника не более не менее как «уголовным волком»? Во всяком деле все можно воспринять по-разному, все можно осветить так или иначе, представить по-своему, на тот или иной лад. А что же мы видим в нашем деле? То, что нет, ка-

жется, ни одной черты, ни одной подробности в нем, на которую бы мы с обвинителем смотрели одинаково, которую мы могли бы передать, осветить в согласии. «Все так, да не так!» – должен каждую минуту говорить я ему. Но, что всего важнее, так это то, что «все не так» в самой сути дела...

Ужасно и началось оно, это дело.

Было девятнадцатое июня прошлого года. Было раннее утро, был шестой час, но в столовой ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Лихарева было уже светло, душно, сухо и жарко от летнего городского солнца. Было, однако, еще тихо, тем более что квартира ротмистра находилась в одном из корпусов гусарских казарм, расположенных за городом. И, пользуясь этой тишиной, а также и своей молодостью, ротмистр крепко спал. На столе стояли ликеры, чашки с недопитым кофеем. В соседней комнате, в гостиной, спал другой офицер, штаб-ротмистр граф Кошиц, а еще дальше, в кабинете, корнет Севский. Утро было, словом, вполне обычное, картина простая, но, как всегда это бывает, когда среди обычного случается что-нибудь необычное, тем

ужаснее, удивительнее и как будто неправдоподобнее было то, что внезапно случилось в квартире ротмистра Лихарева ранним утром девятнадцатого июня. Неожиданно, среди полной тишины этого утра, в прихожей звякнул звонок, потом послышалось, как осторожно и легко, босиком, пробежал отворять денщик, а затем раздался намеренно громкий голос:

– Дома?

С тем же намеренным шумом и вошел пришедший, особенно свободно распахнув дверь в столовую, особенно смело стуча сапогами и звеня шпорами. Ротмистр поднял изумленное и заспанное лицо: перед ним стоял его товарищ по полку, корнет Елагин, человек маленький и щуплый, рыжеватый и веснушчатый, на кривых и необыкновенно тонких ногах, обутой с тем щегольством, которое было, как он любил говорить, его «главной» слабостью. Он быстро снял с себя летнюю шинель и, бросив ее на стул, громко сказал: «Вот вам мои погоны!» А затем прошел к дивану, стоявшему возле противоположной стены, повалился на него спиной и закинул

руки за голову.

– Постой, постой, – пробормотал ротмистр, следя за ним вытаращенными глазами, – откуда ты, что с тобой?

– Я убил Маню, – сказал Елагин.

– Ты пьян? Какую Маню? – спросил ротмистр.

– Артистку Марию Иосифовну Сосновскую.
Ротмистр спустил ноги с дивана:

– Да ты что, шутишь?

– Увы, к сожалению, а может, и к счастью, ничуть.

– Кто это там? Что случилось? – крикнул граф из гостиной.

Елагин потянулся и легким ударом ноги в дверь распахнул ее.

– Не ори, – сказал он. – Это я, Елагин. Я застрелил Маню.

– Что? – сказал граф и, мгновение помолчав, вдруг захохотал. – А... вот оно что! – закричал он весело. – Ну, черт с тобой, на этот раз прощается. Хорошо, что разбудил, а то бы непременно проспали, вчера опять до трех забавлялись.

– Даю тебе слово, что убил, – настойчиво

повторил Елагин.

– Врешь, братец, врешь! – закричал и хозяин, берясь за носки. – А я уже было испугался, не случилось ли чего на самом деле... Ефрем, чаю!

Елагин полез в карман штанов, вытащил из него небольшой ключик и, через плечо ловко бросив его на стол, сказал:

– Ступайте посмотрите сами...

На суде прокурор много говорил о цинизме и ужасе некоторых сцен, составляющих драму Елагина, не раз упирал и на эту сцену. Он забыл, что в это утро ротмистр Лихарев только в первую минуту не заметил «сверхъестественной», как он выразился, бледности Елагина и чего-то «нечеловеческого» в его глазах, а затем был «просто поражен и тем и другим»...

Итак, вот что произошло утром девятнадцатого июня прошлого года.

Через полчаса граф Кошиц и корнет Севский уже стояли на подъезде того дома, где жила Сосновская. Теперь им было больше не до шуток.

Извозчика они чуть не загнали, из пролетки выскочили опрометью, совали ключ в замочную скважину и звонили отчаянно, но ключ не подходил и за дверями была тишина. Потеряв терпение, быстро пошли во двор, стали искать дворника. Дворник побежал с черного хода на кухню и, возвратясь, сказал, что Сосновская, по словам горничной, дома не ночевала – уехала еще с вечера, захватив с собой какой-то сверток. Граф и корнет опешили: что же в таком случае делать? Подумав, пожав плечами, сели и поехали в часть, взяв с собой дворника. Из части позвонили к ротмистру Лихареву. Ротмистр бешено крикнул в телефон:

– Этот идиот, над которым я уже реветь готов, забыл сказать, что нужно было ехать во-

все не на ее квартиру, а в их любовный притон: Староградская, четырнадцать. Слышите? Староградская, четырнадцать. Нечто вроде парижской гарсоньерки, вход прямо с улицы...

Поскакали на Староградскую.

Дворник сидел на козлах; околоточный, со сдержанной независимостью, сел в пролетку, против офицеров. Было жарко, улицы были людны и шумны, и не верилось, что в такое солнечное и оживленное утро кто-то может лежать где-то мертвым, и в тупик ставила мысль, что это сделал двадцатидвухлетний Сашка Елагин. Как он мог на это решиться? За что он ее убил, почему и как убил? Ничего нельзя было понять, вопросы оставались без всякого ответа.

Когда, наконец, остановились возле старого и неприветливого двухэтажного дома на Староградской, граф и корнет, по их словам, «совсем пали духом». Неужели это здесь и неужели это нужно видеть, хотя и тянет видеть, и так неодолимо тянет? Зато околоточный сразу почувствовал себя строгим, бодрым и уверенным.

– Позвольте ключ, – сухо и твердо сказал он, и офицеры заторопились отдать ему ключ с той же робостью, как сделал бы это дворник.

Посредине дома были ворота, за воротами виднелся небольшой двор и деревцо, зелень которого была как-то противоестественно ярка или казалась такой от темно-серых каменных стен. А вправо от ворот и находилась та самая таинственная дверь, выходявшая прямо на улицу, которую нужно было отворить. И вот околоточный, нахмурившись, всунул ключ, и дверь отворилась, и граф с корнетом увидели что-то вроде совершенно темного коридора. Околоточный, точно чутьем угадав, где надо искать, протянул вперед руку, шаркнул ею по стене и осветил узкое и мрачное помещение, в глубине которого, между двух кресел, стоял столик, а на нем тарелки с остатками дичи и фруктов. Но еще мрачнее было то, что представилось глазам вошедших далее. В правой стене коридора оказался небольшой вход в соседнюю комнату, тоже совершенно темную, могильно озаренную опаловым фонариком, висевшим под потолком, под громадным зонтом из черного шел-

ка. Чем-то черным были затянuty сверху до низу и все стены этой комнаты, совсем глухой, лишенной окон. Тут, тоже в глубине, стоял большой и низкий турецкий диван, а на нем, в одной сорочке, с полуоткрытыми глазами и губами, с поникшей на грудь головой, с вытянутыми конечностями, с немного раздвинутыми ногами, лежала, белела молоденькая женщина редкой красоты.

И вошедшие остановились и на мгновение оцепенели от страха и удивления.

III

Редкой красота покойной была потому, что она на редкость удовлетворяла тем требованиям, которые ставят себе, например, модные художники, изображающие идеально хорошеньких женщин. Тут было все, что полагается: прекрасное сложение, прекрасный тон тела, маленькая и без единого изъяна нога, детская, простодушная прелесть губ, небольшие и правильные черты лица, чудесные волосы... И все это теперь было уже мертво, все стало каменеть, блекнуть, и красота делала мертвую еще страшнее. Волосы ее бы-

ли в полном порядке, прическа такова, что хоть на бал. Голова лежала на приподнятой диванной подушке, и подбородок слегка касался груди, что давало ее остановившимся, полуоткрытым глазам и всему ее лицу как бы несколько озадаченное выражение. И все это странно озарял опаловый фонарик, висевший под потолком, в дне огромного черного зонта, похожего на какую-то хищную птицу, распростершую над мертвой свои перепончатые крылья.

В общем, картина поразила даже околоточного. Затем все несмело перешли к более подробному осмотру ее.

Прекрасные обнаженные руки покойной были ровно вытянуты вдоль тела. На груди ее, на кружевах рубашки, лежали две визитных карточки Елагина, а у ног – гусарская сабля, казавшаяся очень грубой рядом с их женственной наготой. Граф хотел было взять ее, чтобы вынуть из ножен, с нелепой мыслью, нет ли на ней следов крови. Околоточный удержал его от этого незаконного поступка.

– Ах, конечно, – шепотом пробормотал граф, – трогать, конечно, пока ничего нельзя.

Но меня удивляет то, что я нигде не вижу ни крови, ни вообще следов преступления. Очевидно, отравление?

– Имейте терпение, – наставительно сказал околоточный, – подождем следователя и доктора. Но, несомненно, похоже и на отравление...

И точно, было похоже. Крови нигде не было – ни на полу, ни на диване, ни на теле, ни на сорочке покойницы. На кресле, возле дивана, лежали женские панталоны и пеньюар, под ними – голубая с перловым отливом рубашечка, юбка из очень хорошей темно-серой материи и шелковое серое манто. Все это было брошено на диван как попало, но тоже не замарано ни одной каплей крови. Мысль об отравлении подтверждало еще то, что оказалось на выступе стены над диваном: на этом выступе, среди шампанских бутылок и пробок, огарков и женских шпилек, среди исписанных и изорванных клочков бумаги, стоял стакан с недопитым портером и небольшая склянка, на белом ярлыке которой зловеще чернело: «Op. Pulv».

Но как раз в ту минуту, когда околоточ-

ный, граф и корнет поочередно перечитывали эти латинские слова, на улице слышался шум подъехавшего экипажа с доктором и следователем, и через несколько минут оказалось, что Елагин говорил правду: Сосновская в самом деле была убита из револьвера. Кровавых пятен на сорочке не было. Но зато под сорочкой обнаружили в области сердца багровое пятно, а посредине пятна круглую, с обожженными краями ранку, из которой сочилась жидкая темная кровь, ничего не испачкавшая вследствие того, что ранка была прикрыта комком носового платка...

Что еще установила врачебная экспертиза? Немногое: то, что в правом легком покойной есть следы туберкулеза; что выстрел был произведен в упор и что смерть наступила мгновенно, хотя покойная все-таки могла после выстрела произнести короткую фразу; что борьбы между убийцей и его жертвой не было; что она пила шампанское и приняла вместе с портером небольшое (недостаточное для отравления) количество опия; и, наконец, то, что она имела в эту роковую ночь сношение с мужчиной...

Но почему, за что убил ее этот мужчина? Елагин упорно твердил в ответ на этот вопрос: потому, что оба они – и он сам, и Сосновская – были в «трагическом положении», что они не видели иного выхода из него, кроме смерти, и что, убивая Сосновскую, он лишь исполнил ее приказание. Однако этому как будто совершенно противоречили предсмертные записки покойной. Ведь на ее груди нашли две его визитных карточки, исписанных ее рукой по-польски (и, кстати сказать, довольно безграмотно). На одной стояло:

«Генералу Коновницыну, председателю правления театра. Приятель мой! Благодарю тебя за благородную дружбу нескольких лет... Шлю последний привет и прошу выдать моей матери все деньги за мои последние выходы...»

На другой:

«Человек этот поступил справедливо, убивая меня... Мать, бедная, несчастная! Не прошу прощения, так как умираю не по собственной воле... Мать! Мы увидимся... там, наверху... Чувствую, – это последний момент...»

На таких же карточках писала Сосновская

и другие предсмертные свои записки. Они валялись на выступе стены и были тщательно изорваны. Их сложили, склеили и прочли следующее:

«Человек этот требует моей и своей смерти... Живой мне не выйти...»

«Итак, настал мой последний час... Боже, не оставь меня... Последняя моя мысль – матери и святому искусству...»

«Бездна, бездна! Человек этот – мой рок... Боже, спаси, помоги...»

И, наконец, самое загадочное:

«Quand me me pour toujours...»[5]

Все эти записки, как те, что найдены на груди покойной в полной целости, так и те, что найдены на выступе стены в клочках, как будто противоречили уверениям Елагина. Но именно только «как будто». Почему были не изорваны те две визитных карточки, что лежали на груди Сосновской и на одной из которых стояли такие роковые для Елагина слова, как «умираю не по собственной воле»? Елагин не только не изорвал и не унес их с собой, но даже сам (потому что кто же иной мог это сделать?) положил их на самое видное ме-

сто. Он не изорвал их впопыхах? Впопыхах он, конечно, мог забыть изорвать их. Но как же он мог впопыхах положить на грудь покойной столь опасные для него записки? И был ли он вообще впопыхах? Нет, он привел мертвую в порядок, прикрыл ее сорочкой, предварительно заложив ее рану платком, потом сам прибирался, одевался... Нет, тут прокурор был прав: это делалось не впопыхах.

IV

Прокурор говорил:

– Есть два разряда преступников. Во-первых, преступники случайные, злодеяние которых есть плод несчастного стечения обстоятельств и раздражения, научно называемого «коротким безумием». И во-вторых, преступники, совершающие то, что они совершают, по злему и преднамеренному умыслу: это прирожденные враги общества и общественного порядка, это – уголовные волки. К какому же разряду причислим мы человека, сидящего перед нами на скамье подсудимых? Конечно, ко второму. Он, несомненно, уголов-

ный волк, он совершил преступление потому, что озверел от праздной и разнузданной жизни...

Эта тирада необыкновенно странна (хотя и выражала почти общее мнение нашего города насчет Елагина), и странна тем более, что на суде Елагин все время сидел, опершись на руку, закрываясь ею от публики, и на все вопросы отвечал тихо, отрывисто и с какой-то душу раздирающей робостью и печалью. И, однако, был прокурор и прав: на скамье подсудимых сидел преступник никак не обычный и пораженный вовсе не «коротким безумием».

Прокурор поставил два вопроса: во-первых, разумеется, совершено ли преступление в состоянии аффекта, то есть раздражения, и, во-вторых, было ли оно только невольным пособничеством к убийству – и ответил на оба вопроса с полной уверенностью: нет и нет.

– Нет, – сказал он, отвечая на первый вопрос, – ни о каком аффекте не может быть и речи, и прежде всего потому, что аффекты не длятся по несколько часов. Да и что могло вы-

звать аффект Елагина?

Для решения последнего вопроса прокурор задавал себе множество мелких вопросов и тотчас же отвергал или даже высмеивал их.

Он говорил:

– Не пил ли Елагин в роковой день больше обыкновенного? Нет, он вообще много пил, в этот же день не больше обыкновенного.

– Здоровый ли человек был и есть подсудимый? Присоединяюсь к мнению врачей, его исследовавших: вполне здоровый, но совершенно не привыкший себя обуздывать.

– Не вызван ли был аффект невозможностью брака между ним и любимой им женщиной, если только допустить, что он действительно любил ее? Нет, потому что мы точно знаем: подсудимый и не заботился, не предпринимал решительно никаких шагов к устройству этого брака.

И далее:

– Не привел ли его в аффект предполагаемый отъезд Сосновской за границу? Нет, потому что он давно знал об этом отъезде.

– Но тогда, может быть, привела его в аффект мысль о разрыве с Сосновской, о разрыве

ве, который явится следствием отъезда? Опять нет, потому что о разрыве они говорили и до этой ночи тысячу раз. А если так, что же наконец? Разговоры о смерти? Странная обстановка комнаты, ее, так сказать, наваждение, ее гнет, равно как и вообще гнет всей этой болезненной и жуткой ночи? Но что до разговоров о смерти, то они никак не могли быть новостью для Елагина: эти разговоры шли между ним и его возлюбленной непрерывно и, конечно, уже давным-давно приелись ему. А про наваждение просто смешно говорить. Оно ведь весьма умерялось вещами весьма прозаическими: ужином, остатками этого ужина на столе, бутылками и даже, простите, ночной посудой... Елагин ел, пил, отправлял свои естественные потребности, выходил в другую комнату то за вином, то за ножом, чтобы очинить карандаш...

И прокурор заключил так:

– Что же до того, было ли убийство, совершенное Елагиным, исполнением воли покойной, то тут долго рассуждать не приходится: у нас для решения этого вопроса есть голословные уверения Елагина, что Сосновская сама

просила убить ее, и совершенно роковая для него записка Сосновской: «Умираю не по собственной воле...»

V

Многое можно было возразить на частности в речи прокурора. «Подсудимый человек вполне здоровый...» Но где граница здоровья и нездоровья, нормальности или ненормальности? «Он не предпринимал никаких шагов к устройству брака...» Но ведь, во-первых, не предпринимал он этих шагов только потому, что совершенно твердо был убежден в полной бесцельности их; а во-вторых, неужели любовь и брак так уж тесно связаны друг с другом и Елагин успокоился бы и вообще всячески разрешил бы драму своей любви, обвенчавшись с Сосновской? Неужели неизвестно, что есть странное свойство всякой сильной и вообще не совсем обычной любви даже как бы избегать брака?

Но все это, повторяю, частности. А в основном прокурор был прав: аффекта не было.

Он говорил:

– Врачебная экспертиза пришла к заключе-

нию, что Елагин был скорее в спокойном, чем в аффективном, состоянии; а я утверждаю, что не только в спокойном, но удивительно спокойном. В этом нас убеждает осмотр прибранной комнаты, где совершено преступление и где Елагин оставался еще долго после него. Затем – показание свидетеля Ярошенко, видевшего, с каким спокойствием вышел Елагин из квартиры на Староградской и как тщательно, не торопясь, запер он ее на ключ. И наконец, поведение Елагина у ротмистра Лихарева. Что, например, сказал Елагин корнету Севскому, который убеждал его «опомниться», вспомнить, не застрелилась ли Сосновская сама? Он сказал: «Нет, брат, я все отлично помню!» – и тут же описал, как именно он произвел выстрел. Свидетеля Будберга «даже неприятно поразил Елагин – он, после своего признания, хладнокровно пил чай». А свидетель Фохт был поражен еще более. «Господин штаб-ротмистр, – иронически сказал ему Елагин, – я надеюсь, что вы сегодня уволите меня от учения». «Это было так страшно, – говорит Фохт, – что корнет Севский не выдержал и зарыдал...» Правда, была минута, когда зарыдал

и Елагин: это когда ротмистр вернулся от командира полка, к которому он ходил за приказаниями насчет Елагина, и когда Елагин понял по лицам Лихарева и Фохта, что он, в сущности, больше уже не офицер. Вот в это-то время он и зарыдал, – закончил прокурор, – только в это время!

Конечно, последняя фраза опять очень странна. Кому не известно, как часто происходит подобное внезапное пробуждение от столбняка в горе, в несчастье даже от чего-нибудь совершенно незначительного, от чего-нибудь случайно попавшегося на глаза и вдруг напомнившего человеку всю его прежнюю, счастливую жизнь и всю безнадежность, весь ужас его теперешнего положения? А ведь Елагину напомнило все это вовсе не что-нибудь незначительное, случайное. Ведь он как бы и родился офицером, десять поколений его предков служили. И вот он уже не офицер. И мало того что не офицер – не офицер он потому, что нет уже в мире той, которую он любил истинно больше своей жизни, и он сам, сам сделал это чудовищное дело!

Впрочем, это тоже только подробности.

Главное же то, что «короткого безумия» действительно не было. Но тогда что же было? Прокурор признал, что «в этом темном деле все должно быть прежде всего сведено к обсуждению характеров Елагина и Сосновской и к выяснению их отношений». И он твердо заявил:

– Сошлись две личности, ничего общего между собой не имеющие...

Так ли это? Вот в этом-то и весь вопрос: так ли это?

VI

О Елагине я сказал бы прежде всего то, что ему двадцать два года: возраст роковой, время страшное, определяющее человека на все его будущее. Обычно переживает человек в это время то, что медицински называется зрелостью пола, а в жизни – первой любовью, которая рассматривается почти всегда только поэтически и в общем весьма легкомысленно. Часто эта «первая любовь» сопровождается драмами, трагедиями, но совсем никто не думает о том, что как раз в это время переживают люди нечто гораздо более глубокое,

сложное, чем волнения, страдания, обычно называемые обожанием милого существа, – переживают, сами того не ведая, жуткий расцвет, мучительное раскрытие, первую мессу пола. И вот, будь я защитником Елагина, я просил бы судей обратить внимание на его возраст именно с этой точки зрения и еще на то, что перед нами сидел человек совсем незаурядный в этом смысле. «Молодой гусар, ошалелый прожигатель жизни», – говорил прокурор, повторяя общее мнение, и в доказательство правоты своих слов передал рассказ одного свидетеля, артиста Лисовского, о том, как Елагин пришел однажды в театр днем, когда артисты сходились на репетицию, и как, увидав его, Сосновская отскочила в сторону, за спину Лисовского, и быстро сказала ему: «Дядя, заслони меня от него!» «Я ее заслонил, – рассказывал Лисовский, и этот гусарик, налитый вином, вдруг остановился и ошалел – стоит, расставив ноги, и смотрит, недоумевая: куда же это делась Сосновская?»

Вот именно так: ошалелый человек. Но только от чего ошалелый – ужели от «праздничной, разнузданной жизни»?

Происходит Елагин из родовитой и богатой семьи, матери (которая была, заметьте, натурой весьма экзальтированной) он лишился очень рано, от отца, человека сурового, строгого, был прежде всего отделен тем страхом, в котором он и рос, и вырос. Прокурор с жестокой смелостью рисовал не только нравственный, но и физический облик Елагина. И он сказал:

– Таков, господа, был наш герой в живописном гусарском наряде. Но взгляните на него теперь. Теперь его уже ничто не скрашивает; перед нами низкорослый и сутулый молодой человек с белобрысыми усиками и крайне неопределенным, незначительным выражением лица, в своем черном сюртучке весьма мало напоминающий Отелло, то есть личность, по-моему, с резко выраженными дегенеративными особенностями, крайне не храбрый в одних случаях, как, например, в отношении к отцу, и крайне дерзкий, не считающийся ни с какими преградами – в других, то есть тогда, когда он чувствует себя свободным от отцовского взгляда и вообще надеется на безнаказанность...

Что же, в этой грубой характеристике было много правды. Но я, слушая ее, во-первых, не понял, как можно с легкостью относиться ко всему тому страшно сложному и трагическому, чем часто отличаются люди с резко выраженной наследственностью, а во-вторых, все-таки видел в этой правде только очень небольшую часть правды. Да, рос Елагин в трепете перед отцом. Но трепет не есть трусость, и особенно перед родителями, да еще у человека, которому дано сугубое чувство всего того наследства, которое связывает его со всеми его отцами, дедами и прадедами. Да, наружность Елагина не есть классическая наружность гусара, но и в этом я вижу одно из доказательств незаурядности его природы; взгляните, сказал бы я прокурору, попристальнее в этого рыжеватого, сутулого и тонконового человека, и вы почти со страхом увидите, как далеко от незначительности это веснушчатое лицо с маленькими и зеленоватыми (избегающими глядеть на вас) глазами. И потом, обратите внимание на его дегенеративную силу: в день убийства он был на учении – с раннего утра, конечно, – и вы-

пил за завтраком шесть рюмок водки, бутылку шампанского, две рюмки коньяку – и остался при этом почти совершенно трезвым!

VII

В большом противоречии с общим низким мнением об Елагине стояли и показания многих его полковых товарищей. Все они отзывались о нем самым лучшим образом. Вот каково, например, было мнение о нем эскадронного командира:

– Вступив в полк, Елагин замечательно хорошо поставил себя среди офицеров и всегда был чрезвычайно добр, заботлив, справедлив и к нижним чинам. Характер его, по-моему, отличался только одним: неровностью, которая выражалась, однако, не в чем-нибудь неприятном, а только в частых и быстрых переходах от веселости к меланхолии, от разговорчивости к молчаливости, от уверенности в себе к безнадежности насчет своих достоинств и вообще всей своей судьбы...

Затем – мнение ротмистра Ллхарева:

– Елагин всегда был добрым и хорошим товарищем, только со странностями: то бывал

он скромнен и застенчиво скрытен, то впадал как бы в некоторую бесшабашность, бравату... После того как он пришел ко мне с признанием в убийстве Сосновской и Севский с Кошицем поскакали на Староградскую, он то страстно плакал, то едко и буйно смеялся, а когда его арестовали и везли в заключение, с дикой улыбкой советовался с нами, у какого портного заказать себе штатское платье...

Затем – графа Кошица:

– Елагин был человек в общем нрава веселого и нежного, нервный, впечатлительный, склонный даже к восторженности. Особенно действовали на него театр и музыка, часто доводившая его до слез; да он и сам был необыкновенно способен к музыке, он играл чуть не на всех инструментах...

Приблизительно то же сказали и все прочие свидетели:

– Человек очень увлекающийся, но как будто всегда ожидавший чего-то настоящего, необыкновенного...

– На товарищеских пирушках чаще всего бывал весел и как-то мило надоедлив, шампанского требовал больше всех и угощал им

кого попало... Вступив в связь с Сосновской, чувства к которой он всегда чрезвычайно старался скрыть от всех, очень изменился: часто бывал задумчив, печален, говорил, что утверждается в намерении покончить с собой...

Таковы сведения об Елагине, исходившие от лиц, живших с ним в наибольшей близости. Откуда же, думал я, сидя на суде, взял прокурор столь черные краски для его портрета? Или у него есть сведения какие-нибудь другие? Нет, у него их нет. И остается предположить, что к этим черным краскам побудили его общие представления о «золотой молодежи» и то, что он узнал из единственного имевшегося в распоряжении суда письма Елагина к одному своему другу в Кишинев. Тут Елагин с большой развязностью говорил о своей жизни:

«Дошел я, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хорошо, ну и слава богу, а что завтра будет, наплевать, утро вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе...»

Такая самооценка как будто связывалась с

красноречием прокурора, говорившего, что «во имя животной борьбы за наслаждения Елагин поставил женщину, все ему отдавшую, на суд общества и лишил ее не только жизни, но даже последней чести – христианского погребения...» Но связывалась ли на самом деле? Нет, прокурор взял из этого письма только несколько строк. Полностью же оно было таково:

«Дорогой Сергей. Письмо твое получил и хотя поздно отвечаю, но что ж делать? Наверное, ты, читая мое письмо, будешь думать: „Вот каракули, точно муха, попавшая в чернила, напелзала!“ Ну что ж, почерк, как говорят, есть если не зеркало, то до известной степени выражение характера. Я все тот же лоботряс, как и был, а если хочешь, даже хуже, так как два года самостоятельной жизни и еще *кое-что* наложили свою печать. Есть, брат, кое-что, чего и сам Соломон премудрый не выразит! А потому не удивляйся, если в один прекрасный день узнаешь, что я себя тарарахнул. Я дошел, брат, до какого-то безразличия: все все равно! Нынче хорошо, ну и слава богу, а что завтра будет, наплевать, утро

вечера мудренее. Добился я репутации славной: первый пьяница и дурак чуть ли не во всем городе. А вместе с тем, поверишь ли? Чувствую иногда в душе такую силу и муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, черт его знает к чему, что грудь ломит. Ты скажешь, что это еще юность; так отчего же мои сверстники ничего подобного не ощущают? Я стал страшно нервный: иногда зимой, ночью, в метель, в холод, вскочив с постели, летаю верхом по улицам, изумляя даже городских, которые привыкли ничему не удивляться, – и заметь, вполне трезвый и не с перепоя. Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, а его все нет и нет! Что ж, тебе-то признаюсь: я влюбился и совсем, совсем не в такую, какими полон весь город... Впрочем, довольно об этом. Пиши мне, пожалуйста, адрес ты мой знаешь. Помнишь, как ты говорил? «Россия, корнету Елагину...»

Поразительно: как можно было после прочтения хотя бы одного этого письма говорить, что «сошлись личности, ничего общего между собой не имеющие»!

VIII

Сосновская была чистокровная полька. Была старше Елагина – ей было двадцать восемь лет. Отец ее был незначительный чиновник, покончивший жизнь самоубийством, когда ей было всего три года. Мать долго вдовела, потом опять вышла замуж, и опять за мелкого чиновника, и опять скоро стала вдовой. Как видите, семья Сосновской была довольно среднего порядка, – откуда же все те странные душевные черты, которыми Сосновская отличалась, и откуда та страсть к сцене, которая, как мы знаем, очень рано обнаружилась в ней? Думаю, что уж, конечно, не от воспитания в семье и в том частном пансионе, где она училась. А училась она, кстати сказать, очень хорошо и в свободное время много читала. И, читая, порою выписывала из книг мысли и изречения, ей нравившиеся, – конечно, как всегда в подобных случаях бывает, так или иначе связывая их с собою, – и вообще делала некоторые заметки, вела нечто вроде дневника, если только можно назвать дневником клочки бумаги, до ко-

торых она не дотрагивалась иногда по целым месяцам и на которые беспорядочно изливала свои мечты и взгляды на жизнь, а то просто заносила счета прачки, портнихи и прочее в этом роде. Что же именно выписывала она?

«Не родиться – первое счастье, второе же – поскорее возвратиться к небытию». Чудная мысль!

«Свет скучен, смертельно скучен, а душа моя стремится к чему-то необыкновенному...»

«Люди понимают только те страдания, от которых умирают» (Мюссе).

«Нет, я никогда не выйду замуж. Это все говорят. Но я клянусь в том богом и смертью...»

«Только любовь или смерть... Но где же во вселенной найдется такой, чтобы я полюбила? Такого нет, не может быть! А как же умереть, когда я, как бесноватая, люблю жизнь?»

«Страшнее, привлекательней и загадочней любви нет ничего ни на небе, ни на земле...»

«Мать говорит, например, чтобы я вышла из-за денег. Я, я – из-за денег! Какое неземное слово „любовь“, сколько ада и прелести в нем, хоть я и никогда не любила!»

«Весь мир смотрит на меня миллионами плотоядных глаз, как когда я бывала маленькой в зверинце...»

«Быть человеком не стоит. Ангелом – тоже. И ангелы возроптали и восстали на бога. Стоит быть богом или ничтожеством» (Красинский).

«Кто может похвалиться, что проник в ее душу, когда все усилия ее жизни направлены к сокрытию глубины ее души?» (Мюссе).

Кончив курс в пансионе, Сосновская тотчас же заявила матери, что она решила посвятить себя искусству. Мать, добрая католичка, сперва, конечно, и слышать не хотела о том, чтобы ее дочь стала актрисой. Однако дочь была совсем не такова, чтобы покоряться кому бы то ни было, да уже и раньше успела внушить матери, что ее жизнь, жизнь Марии Сосновской, никак не может быть обыкновенной и бесславной.

Восемнадцати лет она уехала во Львов и быстро осуществила свои мечты: и на сцену попала без всяких затруднений, и вскоре выделилась на ней. Вскоре она приобрела известность и среди публики, и в театральном

мире настолько серьезную, что на третий год службы получила приглашение в наш город. Однако и во Львове заносила она в свою записную книжечку приблизительно то же, что и раньше:

«Об ней все говорят, над ней плачут и смеются, но кто же знает ее?» (Мюссе).

«Если бы не мать, я убила бы себя. Это мое постоянное желание...»

«Когда я выеду куда-нибудь за город, увижу небо, такое прекрасное и бездонное, я не знаю, что тогда со мной происходит. Я хочу кричать, петь, декламировать, плакать... полюбить и умереть...»

«Я изберу себе прекрасную смерть. Я найму маленькую комнату, велю обить ее траурной материей. Музыка должна играть за стеной, а я лягу в скромном белом платье и окружу себя бесчисленными цветами, запах которых и убьет меня. О, как это будет дивно!»

И дальше:

«Все, все требуют моего тела, а не души...»

«Если бы я была богата, я объехала бы весь свет и любила бы по всему земному шару...»

«Знает ли человек, чего он хочет? Уверен

ли в том, что он думает?» (Красинский).

И наконец:

«Негодяй!»

Кто был этот негодяй, сделавший, конечно, то, о чем так нетрудно догадаться? Известно только то, что он был и не мог не быть.

– Уже во Львове, – сказал свидетель Заузе, львовский сослуживец Сосновской, – она не одевалась, а скорее раздевалась для сцены, принимала же у себя всех своих знакомых и поклонников в прозрачном пеньюаре, с голыми ногами. Красота их повергала всех, и особенно новичков, в восторженное изумление. А она говорила: «Вы не удивляйтесь, это мои собственные» – и показывала ноги выше колен. В то же время она не переставала твердить мне, – часто со слезами, – что нет никого, достойного ее любви, и что ее единственная надежда – смерть...

И вот явился «негодяй», с которым она ездила в Константинополь, в Венецию, в Париж и у которого она бывала в Кракове, в Берлине. Это был какой-то галицийский помещик, человек чрезвычайно богатый. О нем говорил свидетель Вольский, знавший Сосновскую с

детства:

– Я всегда считал Сосновскую женщиной очень низкого нравственного уровня. Она не умела держать себя, как надо артистке и обывательнице нашего края. Она любила только деньги, деньги и мужчин. Цинично, как она еще почти девочкой продала себя старому кабану галицийскому!

Именно об этом «кабане» рассказывала Сосновская Елагину в своей предсмертной беседе. Тут она, роняя слова, жаловалась ему:

– Я росла одиноко, за мной никто не смотрел. Я была в своей семье, да и во всем мире, всем чужая... Одна женщина – да будет проклято ее потомство! – развращала меня, доверчивую, чистую девочку... А во Львове я искренне полюбила одного человека, как отца, который оказался такой негодяй, такой негодяй, что я вспомнить не могу о нем без ужаса! И он приучил меня к гашишу, к вину, он возил меня в Константинополь, где у него был целый гарем, он лежал в этом гареме, смотря на своих голых рабынь, и заставлял раздеваться и меня, подлый, низкий человек...

IX

У нас, в нашем городе, Сосновская скоро стала притчей во языцех.

– Еще во Львове, – говорил свидетель Мешков, – многим предлагала она умереть за одну ночь с ней – и все твердила, что ищет сердце, способное любить. Она очень настойчиво искала это любящее сердце. А сама постоянно говорила: «Моя главная цель – жить и пользоваться жизнью. Купор должен пробовать все вина и ни одним вином не упиваться. Так же должна поступать и женщина с мужчинами». И так она и поступала, – говорил Мешков. – Совсем не уверен, все ли вина она пробовала, но знаю, что окружила она себя огромным количеством их. Впрочем, может быть, и это делала она главным образом для того, чтобы создавать вокруг себя шум, приобретать себе клакеров для театра. «Деньги, – говорила она, – пустяки. Я жадна, порою скупа, как последняя мещанка, но как-то не думаю о деньгах. Главное – слава, все остальное будет». И о смерти она, по-моему, постоянно толковала тоже только с этой целью: заставить говорить

о себе...

То же самое, что и во Львове, продолжалось и в нашем городе. И почти такие же писались заметки:

«Боже, какая тоска, какое томление! Хоть бы землетрясение, затмение случилось!»

«Как-то вечером я была на кладбище, там было так прекрасно! Мне казалось... но нет, я не умею описать этого чувства. Мне хотелось остаться на всю ночь, декламировать над могилами и умереть от изнеможения. На другой день я играла так хорошо, как никогда...»

И опять:

«Вчера я была на кладбище в десять часов вечера. Какое тяжелое зрелище! Луна обливала лучами надгробные камни и кресты. Мне казалось, что я окружена тысячами мертвецов. Я же чувствовала себя такой счастливой, радостной! Мне было очень хорошо...»

А познакомившись с Елагиным и узнав от него однажды, что в полку умер вахмистр, она потребовала, чтобы Елагин свез ее в часовню, где лежал покойник, и записала, что вид часовни и покойника при свете луны произвел на нее «потрясающе-восторженное

впечатление».

Жажда славы, людского внимания перешла у нее в это время просто в исступление. Да, она была очень хороша собой. Красота ее была в общем не оригинальна, и все-таки было в ней какое-то особое, редкое, необычное очарование, какая-то смесь простодушия и невинности с звериным лукавством, а кроме того, смесь постоянной игры с искренностью; посмотрите на ее портреты, обратите внимание на взгляд, ей особенно присущий, – взгляд всегда немножко исподлобья, при постоянно чуть-чуть открытых губках, взгляд грустный, чаще всего милый, призывный, что-то обещающий, как бы соглашающийся на что-то тайное, порочное. И она умела пользоваться своей красотой. Со сцены она улавляла поклонников не только тем, что на сцене она особенно умела расцветать всеми своими прелестями, звуком голоса и живостью движений, смехом или слезами, но и тем, что чаще всего выступала в ролях, где она могла показать свое тело. А дома она носила соблазнительные восточные и греческие одежды, в которых и принимала своих многочисленных

гостей, одну из своих комнат отвела, как она выражалась, специально для самоубийства, – там были и револьверы, и кинжалы, и сабли в виде серпов и винтов, и склянки со всевозможными ядами, – а постоянным и любимейшим предметом разговоров сделала смерть. Но мало того, часто, беседуя о всяческих способах лишиться себя жизни, она вдруг хватала со стены заряженный револьвер, взводила курок, приставляла дуло к своему виску и говорила: «Скорее, поцелуйте меня или я сию минуту выстрелю!», – а не то брала в рот пилюлю со стрихнином и заявляла, что, если гость тотчас же не упадет на колени и не поцелует ее босую ногу, она проглотит эту пилюлю. И все это она делала и говорила так, что гость бледнел от страха и уходил вдвойне очарованный ею, по всему городу разнося о ней именно те, всех волнующие слухи, которых она так хотела...

– Вообще она сама собой почти никогда не бывала, – говорил на суде свидетель Залесский, очень близко и долго ее знавший. – Играть, дразнить – это было ее постоянное занятие. Довести человека до бешенства нежны-

ми, загадочными взглядами, многозначительными улыбками или грустным вздохом беззащитного ребенка – на это она была великая мастерица. Так вела она себя и с Елагиным. Она то распалила его, то обдавала холодной водой... Хотела ли она умереть? Но она плотно любила жизнь, смерти боялась необыкновенно. Вообще было в ее натуре очень много жизнерадостности и веселости. Помню, как однажды прислал ей Елагин в подарок шкуру белого медведя. У нее в это время было много гостей. А она всех забыла – в такой восторг привела ее эта шкура. Она раскинула ее по полу и, не обращая ни на кого внимания, стала кувыркаться на ней через голову, стала выкидывать такие штуки, что позавидовал бы любой акробат... Очаровательная была женщина!

Впрочем, тот же Залесский рассказывал о том, что она страдала припадками тоски, отчаяния. Врач Серошевский, знавший ее десять лет и лечивший ее еще до ее отъезда во Львов – у нее начиналась тогда чахотка, – тоже показал, что в последнее время она мучилась сильным нервным расстройством, поте-

рей памяти и галлюцинациями, так что он боялся за ее умственные способности. От этого же расстройства лечил ее и врач Шумахер, которого она все уверяла, что не умрет своей смертью (и у которого она однажды взяла два тома Шопенгауэра, «очень внимательно прочитанных и, что всего удивительней, прекрасно понятых, как оказалось потом»). А врач Недзельский дал такое показание:

– Странная была женщина! Когда у нее бывали гости, она чаще всего была очень весела, кокетлива; но случалось, вдруг ни с того ни с сего умолкнет, закатит глаза, уронит голову на стол... а не то начнет бросать, бить об пол стаканы, рюмки... В этих случаях всегда надо было поспешить попросить ее: ну еще, еще, – и она тотчас же прекращала это занятие.

И вот с этой-то «странной и очаровательной женщиной» и встретился наконец корнет Александр Михайлович Елагин.

Х

Как произошла эта встреча? Как родилась между ними близость и каковы были их чувства друг к другу, их отношения? Об этом дважды рассказал сам Елагин: первый раз, кратко и отрывочно, через несколько часов после убийства, – следователю; второй раз – на допросах, происходивших три недели спустя после первого допроса.

– Да, – говорил он, – я виновен в лишении жизни Сосновской, но по ее воле... Я познакомился с ней полтора года тому назад, в кассе театра, через поручика Будберга. Я горячо любил ее и думал, что и она разделяет мои чувства. Но я не всегда бывал уверен в этом. Порой мне казалось, что она любит меня даже больше, чем я ее, а порой – наоборот. Кроме того, она постоянно была окружена поклонниками, кокетничала, и я мучился жестокой ревностью. Но в конце концов все-таки не это составляло наше трагическое положение, а что-то другое, чего я не умею выразить... Во всяком случае, клянусь, что я убил ее не из-за ревности...

Я, говорю, познакомился с ней в феврале прошлого года в театре, возле кассы. Я сделал ей визит, но до октября я бывал у нее не чаще двух раз в месяц, и то всегда днем. В октябре я признался ей в своей любви, и она позволила мне поцеловать ее. Через неделю после того мы с ней и с моим товарищем Волошиным ездили ужинать в загородный ресторан, возвращались же оттуда только вдвоем, и, хотя она была весела, ласкова и слегка опьянена, я чувствовал такую робость перед ней, что боялся поцеловать ее руку. Затем она попросила у меня однажды Пушкина и, прочтя «Египетские ночи», сказала: а вы решились бы отдать жизнь за одну ночь с любимой женщиной? И когда я поспешил ответить, что да, она загадочно улыбнулась. Я уже очень любил ее и ясно видел и чувствовал, что это роковая для меня любовь. По мере того, как мы сближались, я смелел, начал говорить ей о своей любви все чаще, говорил, что чувствую, что гибну... уж хотя бы по одному тому, что отец никогда не позволит мне жениться на ней, что жить ей со мной без брака невозможно, как артистке, которой польское общество

никогда не простило бы открытую незаконную связь с русским офицером. И она тоже жаловалась на свою судьбу, на свою странную душу, от ответа же на мои признания, на мой безмолвный вопрос, любит ли она меня, уклонялась, давая как будто мне некоторую надежду этими жалобами и их интимностью...

Потом, с января нынешнего года, я стал бывать у нее каждый день. Я посылаю ей букеты в театр, посылаю цветы на квартиру, делал подарки... Подарил две мандолины, шкуру белого медведя, перстень и браслет с бриллиантами, решил подарить брошку в виде черепа. Она обожала эмблемы смерти и не раз говорила мне, что желала бы иметь от меня именно такую брошку с надписью по-французски: «Quand meme pour toujours!»

Двадцать шестого марта этого года я получил от нее приглашение на ужин. После ужина она впервые отдалась мне... в комнате, которую она называла японской. В этой же комнате происходили и наши дальнейшие свидания; служанку она отсылала после ужина спать. А потом она дала мне ключ от своей

спальни, наружная дверь которой выходила прямо на лестницу... В память двадцать шестого марта мы заказали себе обручальные кольца, на внутренней стороне которых были вырезаны, по ее желанию, наши инициалы и дата нашей близости...

В одну из наших поездок за город мы подошли в деревне к кресту возле костела, и я поклялся ей перед этим крестом в своей вечной любви, сказал, что она моя жена перед богом и что я до могилы не изменю ей. Она стояла грустная и задумчивая и молчала. Потом сказала просто и твердо: «И я люблю тебя. Quand t'eme pour toujours!»

В начале мая, когда однажды я ужинал у нее, она достала опий в порошке и сказала: «Как легко умереть! Стоит только подсыпать немного, и готово!» И, высыпав порошок в бокал с шампанским, поднесла бокал ко рту. Я вырвал его у нее из рук, выплеснул вино в камин, а бокал разбил о шпору. На другой день она сказала мне: «Вместо трагедии вчера вышла комедия!» И прибавила: «Что ж мне делать, сама я не решаюсь, ты тоже не можешь, не смеешь... Какой позор!»

И после этого мы стали видеться реже: она сказала, что принимать меня у себя по вечерам больше не может. Почему? Я сходил с ума, мучился ужасно. Но кроме того, она изменилась ко мне, стала холодна и насмешлива, принимала меня иногда так, точно мы были едва знакомы, и все издевалась над отсутствием у меня характера... И вдруг опять все изменилось. Она стала заезжать за мной для прогулок, стала заигрывать со мной – может быть, потому, что и я начал усваивать себе холодную сдержанность в обращении с нею... Наконец, она сказала, чтобы я нанял отдельную квартиру для наших свиданий, но такую, чтобы она была на глухой улице, в каком-нибудь сумрачном, старом доме, была бы совершенно темной и отделана так, как она мне прикажет... Вы знаете, как именно была убрана эта квартира...

И вот, шестнадцатого июня я зашел к ней в четыре часа и сказал, что квартира готова, и передал ей один из ключей. Она улыбнулась и, возвращая мне ключ, ответила: «Поговорим об этом после». В то время раздался звонок, пришел некто Шкляревич. Я поспешно

спрятал ключ в карман и заговорил о пустяках. Когда же мы уходили вместе со Шкляревичем, она в прихожей громко сказала ему: «Приходите в понедельник», – мне же шепнула: «Приходи завтра, в четыре», – и шепнула так, что у меня закружилась голова...

На другой день я был у нее ровно в четыре часа. Каково же было мое удивление, когда кухарка, отворившая дверь, заявила мне, что Сосновская не может меня принять, и передала мне ее письмо! Она писала, что чувствует себя нездоровой, что она едет к матери на дачу, что «теперь уже поздно». Вне себя, я зашел в первую попавшуюся кондитерскую и написал ей ужасное письмо, прося объяснить, что значит слово «поздно», и отправил это письмо с посыльным. Но посыльный принес мне мое письмо обратно – ее не оказалось дома. Тогда я решил, что она хочет окончательно порвать со мной, и, возвратясь домой, написал ей новое письмо, резко упрекая ее за всю ее игру со мной и прося возвратить мне обручальное кольцо, которое для нее, вероятно, только шутка, а для меня самое дорогое в жизни, то, что должно лечь со мной в могилу:

я хотел этим сказать, что между нами все кончено, и дать ей понять, что мне остается только смерть. Вместе с этим письмом я возвратил ей ее портрет, все ее письма и вещи, хранившиеся у меня: перчатки, шпильки, шляпку... Денщик вернулся и сказал, что ее нет дома и что он оставил письмо и посылку у дворника...

Вечером я поехал в цирк, встретил там Шкляревича, человека мне мало знакомого, и, боясь быть один, пил с ним шампанское. Вдруг Шкляревич сказал: «Послушайте, я вижу, что вы переживаете, и знаю причины этого. Поверьте мне, что она не стоит того. Мы все прошли через это, она всех нас водила за нос...» Мне хотелось выхватить шашку и рубить ему голову, но я был в таком состоянии, что не только не сделал ничего подобного и не прервал этого разговора, а даже был втайне рад ему, рад возможности хоть в ком-нибудь найти сочувствие. И не знаю, что со мной случилось; я, конечно, ни слова не проронил в ответ ему, ни слова не сказал о Сосновской, но повез его на Староградскую и показал ему квартиру, которую я с такой любо-

вью выбирал для наших свиданий. Мне было так горько, так стыдно, что я так одурачен с этой квартирой...

Оттуда я погнал извозчика в ресторан Невяровского; шел небольшой дождь, извозчик летел, и мне даже от этого дождя и от огня впереди было больно и страшно. В час ночи я вернулся с Шкляревичем из ресторана домой и уже стал раздеваться, как вдруг денщик подал мне записку: она ждала меня на улице, просила немедленно спуститься. Она приехала с горничной в карете и сказала мне, что она так испугалась за меня, что не могла даже ехать одна, взяла горничную. Я приказал денщику проводить горничную домой, а сам сел к ней в карету, и мы поехали на Староградскую. Дорогой я упрекал ее, говорил, что она играет со мной. Она молчала и, глядя перед собой, иногда вытирала слезы. Впрочем, она казалась спокойной. И так как ее состояние обыкновенно всегда передавалось мне, то и я стал успокаиваться. Когда мы приехали, она совсем повеселела, квартира ей очень понравилась, я взял ее руку, просил прощения за все свои упреки, просил возвра-

тить ее портрет, то есть тот, который я в раздражении отослал ей. У нас часто бывали ссоры, и я всегда в конце концов чувствовал себя виноватым и всегда просил прощения. В три часа ночи я повез ее домой. А дорогой наш разговор опять обострился. Она сидела, смотря перед собой, я не видел ее лица, чувствовал только запах ее духов и ледяной, злой звук голоса. «Ты не мужчина, – говорила она, – у тебя нет никакого характера, я могу когда угодно и взбесить, и успокоить тебя. Будь я мужчина, я бы такую женщину изрезала на мелкие кусочки!» Тогда я крикнул: «В таком случае возьмите назад ваше кольцо!» – и насильно надел его ей на палец. Она повернулась ко мне и, смущенно улыбаясь, сказала: «Приходи завтра». Я ответил, что не приду ни в каком случае. Она неловко, робко стала меня просить, говорила: «Нет, ты придешь, придешь... на Староградскую...» И потом решительно прибавила: «Нет, я умоляю тебя прийти, я скоро уеду за границу, я хочу видеть тебя в последний раз, главное, мне нужно тебе сказать очень важную вещь». И опять заплакала и прибавила: «Я только удивля-

юсь – ты говоришь, что ты меня любишь, что без меня жить не можешь и застрелишься, а не хочешь меня видеть в последний раз...» Тогда я сказал, стараясь быть сдержанным, что если так, то я завтра сообщу ей, в котором часу буду свободен. Когда мы расстались у ее подъезда, под дождем, у меня сердце разрывалось от жалости и любви к ней. Вернувшись домой, я с удивлением и отвращением застал у себя спящего Шкляревича...

Утром в понедельник, восемнадцатого июня, я послал ей записку, что я свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть, на Староградской...»

XI

Антонина Кованько, горничная Сосновской, и ее кухарка, Ванда Линевиц, показали, что в субботу шестнадцатого Сосновская, зажигая спиртовку, чтобы подвить себе челку, бросила в рассеянности спичку на подол своего легкого пеньюара, а пеньюар вспыхнул, и Сосновская дико закричала, сбрасывая, срывая его с себя, – вообще так испугалась, что слегла в постель, послала за доктором, а потом все твердила:

– Вот посмотрите, это к большой беде...

Милая, несчастная женщина! Эта история с пеньюаром и с ее детским ужасом волнует и трогает меня необыкновенно. Этот пустяк как-то удивительно связывает и освещает для меня все то отрывочное и противоречивое, что мы о ней всегда слышали и чего мы не слушались и в обществе, и на суде со времени ее гибели, а главное, удивительно возбуждает во мне живое ощущение той подлинной Сосновской, которую почти никто не понял и не почувствовал по-настоящему, равно как и Елагина, невзирая на весь интерес, который к

ней всегда проявляли, на все желания понять, разгадать ее, на все толки о ней, которым конца не было за последний год.

Вообще еще раз скажу: изумительно убожество человеческих суждений! Опять произошло то же самое, что всегда бывает, когда людям приходится разбираться в каком-нибудь даже мало-мальски значительном событии: обнаружилось, что люди глядят – и не видят, слушают – и не слышат. Нужно же было вопреки всякой очевидности, словно нарочито, исказить до такой степени и Елагина, и Сосновскую, и все, что было между ними! Все как будто условились не говорить ничего, кроме пошлостей. Что ж, мол, тут мудрить: он – гусар, ревнивый и пьяный прожигатель жизни, она – актриса, запутавшаяся в своей безалаберной и безнравственной жизни...

– Отдельные кабинеты, вино, кокотки, дебош, – говорили про него. – Бряцание сабли заглушало в нем все высшие чувства...

Высшие чувства, вино! А что такое вино для такой натуры, как Елагин? «Чувствую иногда такую муку и влечение ко всему хорошему, высокому, вообще, черт его знает, к че-

му, что грудь ломит... Хочу схватить какой-то неуловимый мотив, который как будто где-то слышал, но его все нет и нет...» А вот во хмелю-то дышится легче и шире, во хмелю неуловимый напев звучит явственнее, ближе. И что с того, что и хмель, и музыка, и любовь, в конце концов, обманчивы, только усугубляют это несказанное в своей остроте и в своем излишестве ощущение мира, жизни?

«Она не любила его, – говорили про нее. – Она только боялась его, ведь он постоянно грозил ей, что убьет себя, то есть не только отяготит ее душу своей смертью, но и сделает ее героиней большого скандала». Есть свидетельства, что она испытывала к нему даже некоторое отвращение. Она все-таки принадлежала ему? Но разве это меняет дело? Мало ли кому она принадлежала! Однако Елагин захотел превратить в драму одну из тех многочисленных любовных комедий, которые она любила играть...

И еще.

Она ужаснулась той страшной, безмерной ровности, которую он начал проявлять все более и более. Раз, при нем, был у нее в гостях

артист Стракун. Он сидел сперва спокойно, только бледнел от ревности. И вдруг встал и быстро вышел в соседнюю комнату. Она кинулась за ним вслед и, увидев в его руках револьвер, упала перед ним на колени, умоляя его сжалиться над собой и над ней. И таких сцен разыгрывалось, вероятно, немало. Не понятно ли после этого, что она наконец решила избавиться от него, отправиться в заграничную поездку, к которой она была уже совсем готова накануне своей смерти? Он принес ей ключ от квартиры на Староградской, от квартиры, которую она, очевидно, выдумала лишь затем, чтобы иметь предлог не принимать его у себя до отъезда. Она этого ключа не взяла. Он стал ей навязывать его. Она заявила: теперь уже поздно, то есть теперь мне не к чему брать его, я уезжаю. Но он закатил ей такое письмо, что, получив его, она ночью поскакала к нему, вне себя от страха, что может застать его уже мертвым...

Пусть все это так (хотя все эти рассуждения совершенно противоречат исповеди Елагина). Но почему же все-таки Елагин так «страшно», «безмерно» ревновал и захотел

превратить комедию в драму? На что нужно было это ему? Отчего просто не застрелил он ее в один из припадков ревности? Отчего «борьбы между убийцей и его жертвой не было»? И затем: «Она чувствовала к нему порой даже некоторое отвращение... Она при посторонних иногда издевалась над ним, давала ему обидные прозвища, называла его, например, кривоногим щенком...» Но, бог мой, ведь в этом вся Сосновская! Ведь еще в ее львовских заметках есть запись про отвращение к кому-то: «Так он еще любит меня! А я? Что чувствую я к нему? И любовь и отвращение!» Она оскорбляла Елагина? Да, однажды, поссорившись с ним – у них это бывало весьма часто, – она позвала горничную и, бросив свое обручальное кольцо на пол, крикнула: «Возьми эту гадость себе!» Но что она сделала перед этим? Перед этим она выбежала в кухню и сказала: «Я сейчас позову тебя, брошу вот это кольцо на пол и скажу, чтобы ты взяла его себе. Но помни – это будет только комедия, ты должна нынче же вернуть мне его, потому что этим кольцом я с ним, с этим дураком, оброчилась, и оно для меня дороже всего на све-

те...»

Ее совсем недаром называли женщиной легкого поведения, и недаром католическая церковь отказала ей в христианском погребении, «как личности дурной и распутной». Она всецело принадлежала к тем женским натурам, которые дают и профессиональных публичных женщин, и свободных служительниц любви. Но что это за натуры? Это натуры с резко выраженным и неутоленным, неудовлетворенным полом, который и не может быть утолен. Вследствие чего? Но разве я знаю, вследствие чего?

И заметьте, что всегда происходит: мужчины того страшно сложного и глубоко интересного типа, который есть (в той или иной мере) тип атавистический, люди по существу своему обостренно чувственные не только по отношению к женщине, но и вообще во всем своем мироощущении, всеми силами своей души и тела тянутся всегда именно к таким женщинам – и являются героями огромного количества любовных драм и трагедий. Почему? В силу своего низкого вкуса, в силу своей развращенности или просто в силу доступно-

сти таких женщин? Конечно нет, тысячу раз нет. Нет уже хотя бы потому, что ведь такие мужчины очень хорошо и чувствуют, и видят, насколько всегда мучительна, порою истинно страшна и гибельна связь, близость с такими женщинами. Они это чувствуют, видят, знают, а все-таки тянутся больше всего к ним, именно к таким женщинам, – неудержимо тянутся к своей муке и даже гибели. Почему?

Конечно, только комедию играла она, когда писала свои предсмертные записочки, внушая себе, будто и впрямь настал ее последний час. И ничуть не убеждают в противном никакие ее дневники – кстати сказать, весьма банальные и наивные – и никакие посещения кладбищ...

Наивность ее дневников и театральность прогулок на кладбища никто не отрицает, равно как и того, что она любила намекать на свое сходство с Марией Башкирцевой, с Марией Вечера. Но почему же все-таки избрала она именно тот, а не другой род дневника и хотела быть в сродстве именно с такими женщинами? Все было у нее: красота, молодость,

слава, деньги, сотни поклонников, – и всем этим она пользовалась со страстью и упоением. И однако жизнь ее была сплошным томлением, непрестанной жаждой уйти прочь от постылого земного мира, где все всегда не то и не то. В силу чего? В силу того, что она все это наиграла себе. Но отчего же она наиграла именно это, а не что-либо другое? Оттого, что все это столь обычно среди женщин, посвятивших себя, как они выражаются, искусству? Но отчего же это столь обычно? Отчего?

XII

Утром в воскресенье настольный колокольчик зазвенел из ее спальни в восьмом часу: она проснулась и позвала горничную гораздо раньше обыкновенного. Горничная внесла поднос с чашкой шоколаду и раздвинула занавески. Она сидела на постели и, по своему обыкновению, исподлобья, с полуоткрытыми губками, задумчиво и рассеянно следила за ней. Потом сказала:

– А знаешь, Тоня, я вчера заснула сразу же после доктора. Ой, мать божия, как я испугалась! А только он приехал, мне стало так хо-

рошо и спокойно. Ночью проснулась, стала на колени на постели и целый час молилась... Ты подумай, какова бы я была, если бы меня всю обожгло! Глаза бы лопнули, губы раздулись. На меня страшно было бы взглянуть... Все лицо закрыли бы ватой...

До шоколаду она долго не притрагивалась и все сидела, что-то думая. Потом выпила шоколад и, приняв ванну, в купальном халатике и с распущенными волосами, написала за своим маленьким письменным столиком несколько писем на бумаге в траурной рамке: она уже давно заказала себе такую бумагу. Одевшись и позавтракав, она уехала: была на даче у матери, а вернулась только в двенадцатом часу ночи с актером Стракуном, который «всегда был у нее свой человек».

– Они приехали оба веселые, – рассказывала горничная. – Встретив их в прихожей, я сейчас же отозвала ее и передала ей письмо и вещи, которые в ее отсутствие прислал Елагин. Она шепнула мне про вещи: «Спрячь скорее, чтобы не видал Стракун!», потом поспешно вскрыла письмо и сейчас же побледнела, растерялась и закричала, уже не обращая

внимания на то, что Стракун сидел в гостиной: «Ради бога, беги одним духом за каретой!» Я сбегала за каретой и застала ее уже на подъезде. Мы скакали во весь опор, и дорогой она все крестилась и повторяла: «Ой, мать божия, только бы застать его в живых!»

В понедельник она с утра уехала на реку, в купальни. Обедали у нее в этот день Стракун и англичанка (которая вообще приходила к ней почти каждый день давать уроки английского языка и почти никогда не давала). После обеда англичанка ушла, а Стракун оставался еще часа полтора: курил, лежа на диване, положив голову на колени хозяйки, которая «была в одном капоте и в японских туфельках на босу ногу». Наконец Стракун ушел, и она, прощаясь с ним, просила его прийти «нынче же в десять часов вечера».

– Не часто ли будет? – сказал Стракун, смеясь и отыскивая в прихожей палку.

– Ой, нет, пожалуйста! – сказала она. – А если меня не будет, ты уж, Люся, не сердись...

А затем долго жгла в камине какие-то письма и бумаги. Она напевала, шутила с горничной:

– Все теперь сожгу, раз сама не сгорела! А хорошо, кабы сгорела! Только уж вся, дотла...

Потом сказала:

– Скажи Ванде, чтобы ужин был к десяти вечера. А сейчас я уезжаю...

Она уехала в шестом часу, захватив с собой «что-то завернутое в бумагу и похожее на револьвер».

Она поехала на Староградскую, но по дороге завернула к швее Лещинской, которая поправляла, укорачивала ее пеньюар, вспыхнувший на ней в субботу, и, по словам Лещинской, «была в милом и веселом духе». Осмотрев пеньюар и завернув его в бумагу вместе с тем свертком, который она взяла из дому, она еще долго сидела в мастерской, среди девушек-мастериц, все говорила: «Ой, мать божия, как я опоздала, пора мне уходить, ангелочки!» – и все не уходила. Наконец решительно поднялась и со вздохом, но весело сказала:

– Прощайте, пани Лещинская. Прощайте, сестрички, ангелочки, спасибо, что поболтали со мной. Мне так приятно сидеть в вашем милом женском кругу, а то все с мужчинами

да с мужчинами!

И, еще раз с улыбкой покивав с порога головой, вышла...

Зачем взяла она с собой револьвер? Револьвер этот принадлежал Елагину, но она держала его у себя, боясь, что Елагин застрелится.

– Теперь же намеревалась возвратить его собственнику, потому что через несколько дней надолго уезжала за границу, – сказал прокурор и добавил: – Так отправилась она на роковое, но не заведомо роковое для нее свидание. В семь часов она была в доме № 14 по Староградской, в квартире № 1, и вот дверь этой квартиры затворилась, а вновь открылась только утром девятнадцатого июня. Что там происходило ночью? Об этом рассказать нам некому, кроме Елагина. Послушаем же его еще раз...

XIII

И еще раз, в глубоком молчании, выслушали мы все, вся многочисленная зала суда, те страницы обвинительного акта, которые прокурор счел нужным восстановить в нашей памяти и которыми кончался рассказ Елагина:

– В понедельник восемнадцатого июня я послал ей записку, что свободен с двенадцати часов дня. Она ответила: «В шесть на Староградской».

В шесть без четверти я был на месте и привез с собой закусок, две бутылки шампанского, две бутылки портеру два стаканчика и флакон с одеколоном. Но ждать пришлось долго: она приехала только в семь...

Войдя, она рассеянно поцеловала меня, прошла во вторую комнату и бросила сверток, который привезла с собой, на диван. «Выйди, – сказала она мне по-французски, – я хочу раздеться». Я вышел и опять долго сидел один. Я был вполне трезв и страшно подавлен, смутно чувствуя, что все кончено, кончается... Впрочем, и обстановка была странная:

я сидел при огне, как ночью, а меж тем я знал и чувствовал, что на дворе, за стенами этих глухих и темных комнат, еще день, прекрасный летний вечер... Она долго не звала меня, не знаю, что она делала. За дверью было совершенно тихо. Наконец она крикнула: «Иди, теперь можно...»

Она лежала на диване, в одном пеньюаре, с голыми ногами, без чулок и без туфель, и молчала, исподлобья глядя в потолок, на фонарь. Сверток, с которым она приехала, был развернут, и я увидел свой револьвер. Я спросил: «А это ты зачем привезла?» Она ответила не сразу: «Так... Ведь я уезжаю... Ты лучше держи его здесь, а не дома...» У меня мелькнула страшная мысль: «Нет, это неспроста!», но я ничего не сказал...

И разговор, который начался между нами после этого, шел довольно долго, с принуждением, холодно. Я втайне страшно волновался, все хотел сообразить что-то, все ждал, что вот-вот я соберусь с мыслями и скажу ей, наконец, что-то важное и решительное, ведь я понимал, что это, может быть, последнее наше свидание или, во всяком случае, разлука

надолго, – и все ничего не мог, чувствовал свое полное бессилие. Она сказала: «Кури, если хочешь...» «Но ведь ты не любишь», – ответил я. «Нет, теперь все равно, – сказала она. – И дай мне шампанского...» Я так этому обрадовался, точно это было моим спасением. Мы в несколько минут выпили всю бутылку, я сел возле нее и стал целовать ее руки, говоря, что я не переживу ее отъезда. Она ерошила мне волосы и рассеянно говорила: «Да, да... Какое несчастье, что я не могу быть твоей женой... Все и всё против нас, только, может, один бог за нас... Я люблю твою душу, люблю твою *фантазию*...» Что она хотела выразить этим последним словом, я не знаю. Я посмотрел вверх под зонт и сказал: «Посмотри, мы тут с тобой как в склепе. И как тихо!» В ответ она только грустно улыбнулась...

Часов в десять она сказала, что ей хочется есть. Мы перешли в переднюю комнату. Но ела она мало, я тоже, – мы больше пили. Вдруг она взглянула на закуски, привезенные мною, и воскликнула: «Глупый, блязень, сколько опять купил! В следующий раз не смей больше этого делать». «Но когда же бу-

дет теперь этот следующий раз?» – спросил я. Она странно посмотрела на меня, потом уронила голову и закатила глаза под лоб. «Иисус, Мария, – прошептала она, – что ж нам делать? Ой, я хочу тебя безумно! Пойдем скорей».

Через некоторое время я взглянул на часы, был уже второй час. «Ой, как поздно, – сказала она. – Надо сию же минуту ехать домой». Однако она даже не приподнялась и прибавила: «Знаешь, я чувствую, что нужно уезжать как можно скорее, а не могу двинуться с места. Я чувствую, что не выйду отсюда. Ты мой рок, моя судьба, божья воля...» И этого я не мог понять. Вероятно, она хотела сказать что-то общее с тем, что написала потом: «Умираю не по своей воле». Вы думаете, что она этой фразой выразила свою незащитность передо мной. А по-моему, она хотела сказать другое: что наша несчастная встреча с ней – рок, божья воля, что она умирает не по своей, а по божьей воле. Впрочем, я не придал тогда особого значения ее словам, я давно привык к ее странностям. Потом она внезапно сказала: «Есть у тебя карандаш?» Я опять был удивлен: зачем ей карандаш? Однако поспешил по-

дать – он был у меня в записной книжечке. Она попросила дать ей еще визитную карточку. Когда она стала что-то писать на ней, я сказал: «Но послушай, не надобно на моей визитной карточке писать записки». «Нет, это так, заметки для себя, – ответила она. – Оставь меня подумать и подремать». И, положив исписанную карточку себе на грудь, закрыла глаза. Стало так тихо, что я впал в какое-то оцепенение...

Так прошло, должно быть, не меньше полчаса. Вдруг она открыла глаза и холодно сказала: «Я забыла, я пришла возвратить тебе твое кольцо. Ты сам хотел вчера все кончить». И, приподнявшись, бросила кольцо на выступ стены. «Разве ты меня любишь? – почти крикнула она. – Не понимаю, как ты можешь спокойно предоставлять мне продолжать жить! Я женщина, у меня нет решимости. Я не боюсь смерти – боюсь страданий, но ты бы мог одним выстрелом покончить со мной, а потом с собой». И тут я еще больше, с страшной ясностью понял весь ужас, безысходность нашего положения и что оно должно наконец разрешиться чем-нибудь. Но

убить ее – нет, я чувствовал, что этого я не могу. Я чувствовал другое: настала решительная минута для меня. Я взял револьвер и взвел курок. «Как? Только себя? – воскликнула она, вскакивая. – Нет, клянусь Иисусом, ни за что!» И выхватила револьвер у меня из рук...

И опять настало это мучительное молчание. Я сидел, она лежала, не двигаясь. И вдруг невнятно, про себя, сказала что-то по-польски и затем ко мне: «Дай сюда мое кольцо». Я подал. «И свое!» – сказала она. Я поспешил исполнить и это. Она надела на палец свое, а мне приказала надеть мое и заговорила: «Я тебя всегда любила и сейчас люблю. Я тебя свела с ума и замучила, но уж таков мой характер и такова наша судьба. Дай мне мою юбку и приноси портеру...» Я подал ей юбку и пошел за портером, а когда вернулся, увидел, что возле нее стоит скляночка с опиумом. «Слушай, – сказала она твердо. – Теперь уже конец комедиям. Ты можешь жить без меня?» Я ответил, что нет. «Да, – сказала она, – я взяла всю твою душу, все твои мысли. Ты не колеблешься убить себя? А если так, возьми и меня с собой. Мне без тебя тоже не жить. И,

убивши меня, ты умрешь с сознанием, что я наконец уже вся твоя – и навеки. А теперь слушай мою жизнь...» И она опять легла и, помолчав минуту и успокоившись, не спеша стала мне рассказывать всю свою жизнь с самого детства... Я почти ничего не помню из этого рассказа...

XIV

— Не помню и того, кто из нас стал раньше писать... Я переломил карандашик пополам... Мы стали писать, и писали все время молча. Я написал, кажется, прежде всего отцу... Вы спрашиваете, почему я упрекал его, что он «не хотел моего счастья», когда я даже и не пытался ни разу просить его согласия на мой брак с ней? Не знаю... Ведь он все равно не согласился бы... Потом я писал однополчанам, прощался с ними... Потом... кому еще? Командиру полка – о том, чтобы меня лично похоронили. Вы говорите: значит, у меня была уверенность, что я покончу с собой? Конечно. Но как же все-таки я не сделал этого? Не знаю...

А она, помню, писала медленно, останав-

ливаясь и обдумывая что-то: напишет слово и исподлобья глядит в стену... Рвала записки она сама, а не я. Писала, рвала и бросала куда попало... Мне кажется, что и в могиле не будет так страшно, как когда мы в этот поздний час, в этой тишине, под этим фонарем, писали все эти ненужные записки... Это была ее воля писать их. Я вообще беспрекословно повиновался всему тому, что она приказывала мне в эту ночь вплоть до самого последнего момента...

Вдруг она сказала: «Довольно. И уж если делать, так скорее. Дай же мне портеру, благовослови, мать божия!» Я налил стакан портеру, и она, приподнявшись, решительно бросила в него щепотку порошку. Выпив больше половины, она остальное велела допить мне. Я выпил. Она же заметалась и, хватая меня за руки, стала просить: «А теперь убей, убей меня! Убей ради нашей любви!»

Как именно я сделал это? Я, кажется, обнял ее левой рукой – да, конечно, левой – и прильнул к ее губам. Она говорила: «Прощай, прощай...» Или нет: «Здравствуй, теперь уже навсегда... Если не удалось здесь, то там, на-

верху...» Я прижался к ней и держал палец на спуске револьвера... Помню, я чувствовал, как дергалось все мое тело... А потом как-то сам собой дернулся палец... Она успела сказать по-польски: «Александр, мой возлюбленный!»

В котором часу это было? Думаю, что в три. Что я делал после того еще два часа? Но я с час шел до Лихарева. А остальное время я сидел возле нее, потом зачем-то приводил все в порядок...

Почему я не застрелился сам? Но я как-то забыл об этом. Когда я увидел ее мертвой, я забыл все в мире. Я сидел и только смотрел на нее. Потом, в таком же диком бессознании, стал прибирать ее и комнату... Я не мог бы не сдержать слова, которое я дал ей, что после нее я убью себя, но мной овладело полное безразличие... Так же безразлично отношусь я и теперь к тому, что живу. Но я не могу примириться с тем, что думают, будто я палач. Нет, нет! Может быть, я виноват перед людским законом, виноват перед богом, но не перед ней!

<Приморские Альпы. 11 сентября. 1925>

Три рубля

В тот летний вечер я приехал из деревни в наш уездный город по железной дороге, часу в девятом. Было еще жарко, от туч сумрачно, надвигалась гроза. Когда извозчик помчал меня, подымая пыль, от вокзала по темнеющему полю, сзади вдруг что-то вспыхнуло, дорога впереди на мгновение озарилась золотом, где-то прокатился гром и крупными звездами зашлепал по пыли и пролетке быстрый, редкий дождь, тотчас же прекратившийся. Потом пролетка, сорвавшись под изволок с мягкой дороги, задрезжала по каменному мосту через пересохшую речку. За мостом дико чернели и металлически пахли городские кузни. На дороге в гору горел запыленный керосиновый фонарь...

В гостинице Воробьева, лучшей в городе, мне, как всегда, отвели комнату со спальней за перегородкой. Воздух в этой комнате с двумя затворенными окнами за белыми коленкоровыми занавесками был горяч, как в печи. Я приказал коридорному отворить окна настежь, принести самовар и поскорей подо-

шел к окну: в комнате дышать было нечем. За окном уже чернела темнота, в которой то и дело вспыхивали молнии, теперь уже голубые, и катился точно по ухабам гул грома. И помню, я подумал: до того ничтожный городишко, что даже непонятно, зачем так грозно вспыхивает над ним этот великолепный голубой свет и так величественно грохочет, сотрясается мрачное, невидимое небо. Я пошел за перегородку и, снимая с себя пиджак и развязывая галстук, услышал, как влетел с самоваром на подносе коридорный и стукнул в круглый стол перед диваном. Я выглянул: кроме самовара, полоскательницы, стакана и тарелки с булкой, на подносе была еще чашка.

– А чашка зачем? – спросил я. Коридорный ответил, заиграв глазами:

– Там вас одна барышня спрашивает, Борис Петрович.

– Какая барышня?

Коридорный пожал плечом и манерно усмехнулся:

– Понятно какая. Очень просила впустить, обещала рубль на чай, если хорошо заработа-

ет. Видела, как вы подъехали...

– Из уличных, значит?

– Ясное дело. Таких у нас никогда незаметно было: приезжие обыкновенно за барышнями к Анне Матвеевне посылают, а тут вдруг какая-то сама входит. Ростом замечательная и вроде гимназистки.

Я подумал о скучном вечере, который предстоял мне, и сказал:

– Это забавно. Впусти ее.

Коридорный радостно исчез. Я стал заваривать чай, но в дверь тотчас постучали, и я с удивлением увидел, как, не дожидаясь ответа, в комнату развязными шагами больших ног в старых холщовых туфлях вошла рослая девушка в коричневом гимназическом платье и соломенной шляпке с пучком искусственных васильков сбоку.

– Вот шла и забрела на огонек к вам, – с попыткой иронической усмешки сказала она, отводя в сторону темные глаза.

Все это было совсем не похоже на то, что я ожидал, я слегка растерялся и ответил не в меру весело:

– Очень приятно. Снимайте шляпку и при-

саживайтесь чай пить.

За окнами вспыхнуло уже фиолетово и совсем широко, гром прокатился где-то близко и предостерегающе, в комнату пахнуло ветром, и я поспешил затворить окна, обрадовавшись возможности скрыть свое смущение. Когда я обернулся, она сидела на диване, сняв шляпку и закидывая назад стриженные волосы продолговатой загорелой рукой. Волосы у нее были густые, каштановые, лицо несколько широкоскулое, в веснушках, губы полные и сиреневые, глаза темные и серьезные. Я хотел шутливо извиниться, что я без пиджака, но она сухо посмотрела на меня и спросила:

– Сколько вы можете заплатить?

Я опять ответил с деланой беспечностью:

– Успеем еще стоворится! Выпьем прежде чайку.

– Нет, – сказала она, хмурясь, – я должна знать условия. Я меньше трех рублей не беру.

– Три – так три, – сказал я с той же глупой беспечностью.

– Вы шутите? – спросила она строго.

– Нисколько, – ответил я, думая: «Напою ее чаем, дам три рубля и выпровожу с богом».

Она вздохнула и, закрыв глаза, откинула голову на отвал дивана. Я подумал, глядя на ее бескровные, сиреневые губы, что она, верно, голодна, подал ей чашку чаю и тарелку с булкой, сел на диван тронул ее за руку:

– Кушайте, пожалуйста.

Она открыла глаза и молча стала пить и есть. Я пристально смотрел на ее загорелые руки и строго опущенные темные ресницы, думая, что дело все больше принимает нелепый оборот, и спросил:

– Вы здешняя?

Она помотала головой, запивая булку:

– Нет, дальняя...

И опять замолчала. Потом стряхнула с колен крошки и вдруг встала, не глядя на меня:

– Я пойду раздеваться.

Это было неожиданнее всего, я хотел что-то сказать, но она повелительно перебила меня:

– Затворите дверь на ключ и опустите шторы на окнах. – И пошла за перегородку.

Я с бессознательной покорностью и поспешностью опустил шторы, за которыми продолжали все шире сверкать молнии, буд-

то стараясь поглубже заглянуть в комнату, и все настойчивее катились сотрясающиеся гуды, повернул в прихожей дверной ключ, не понимая, зачем я все это делаю, и уже хотел было войти к ней с притворным смехом, перевести все в шутку или соврать, что у меня страшно разболелась голова, но она громко сказала из-за перегородки:

– Идите...

И я опять бессознательно повиновался, вошел за перегородку и увидел ее уже в постели: она лежала, натянув одеяло до подбородка, дико смотрела на меня совершенно почерневшими глазами и сжимала постукивающие зубы. И в беспомощности растерянности и страсти я дернул одеяло из ее рук, раскрыв все ее тело в одной коротенькой заношенной сорочке. Она едва успела поймать голой рукой деревянную грушу над изголовьем и потушить свет...

Потом я стоял в темноте возле раскрытого окна, жадно курил, слушал шум отвесного ливня, низвергавшегося в черном мраке на мертвый город вместе с ярким и быстрым трепетом фиолетовых молний и дальними

ударами грома, думал, вдыхал дождевую свежесть, смешанную с запахами города, накопленного за день: да, непонятное соединение – это жалкое захолустье и это божественно-грозное, грохочущее и слепящее в ливне величие, – и все больше дивился и ужасался: как же это я все-таки не понял до конца, с кем я имею дело, и почему она решилась продать за три рубля свою девственность! Да, девственность! Она окликнула меня.

– Закройте окно, очень шумит, и подите ко мне.

Я вернулся в темноте за перегородку, сел на постель и, найдя и целуя ее руку, стал говорить:

– Простите, простите меня...

Она бесстрастно спросила:

– Вы думали, что я настоящая проститутка, но только очень глупая или сумасшедшая?

Я поспешно ответил:

– Нет, нет, не сумасшедшая, я только думал, что вы еще малоопытны, хотя уже знаете, что некоторые девицы в известных домах надевают гимназическое платье.

– Зачем?

– Чтобы казаться невиннее, привлекательнее.

– Нет, я этого не знала. У меня нет другого платья. Я только нынешней весной кончила гимназию. Тут внезапно умер папа, – мама умерла давно, – я из Новочеркаска приехала сюда, думала найти тут через одного нашего родственника работу, остановилась у него, а он стал приставать ко мне, и я ударила его и все ночевала на скамейках в городском саду... Я думала, что умру, когда вошла к вам. А тут еще увидала, что вы хотите как-нибудь отделаться от меня.

– Да, я попал в глупое положение, – сказал я. – Я согласился впустить вас просто так, от скуки, – я с проститутками никогда не имел дела. Я думал, что войдет какая-нибудь самая обыкновенная уличная девочка, и я угощу ее чаем, поболтаю, пошучу с ней, потом просто подарю ей два-три рубля...

– Да, а вместо этого вошла я. И почти до последней минуты старалась держать в голове одно: три рубля, три рубля. А вышло что-то совсем другое. Теперь я уже ничего не понимаю...

Ничего не понимал и я: темнота, шум ливня за окнами, возле меня лежит на постели какая-то новочеркасская гимназистка, которой я до сих пор не знаю даже имени... потом эти чувства, что с каждой минутой все неудержимее растут во мне к ней... Я с трудом выговорил:

– Чего вы не понимаете?

Она не ответила. Я вдруг зажег свет – передо мной блеснули ее большие черные глаза, полные слезами. Она порывисто поднялась и, закусив губу, упала головой на мое плечо. Я откинул ее голову и стал целовать ее искаженный и мокрый от слез рот, обнимая ее большое тело в спустившейся с плеча заношенной сорочке, с безумием жалости и нежности увидал ее пропыленные смуглые девичьи ступни... Потом номер был полон сквозь спущенные шторы утренним солнцем, а мы все еще сидели и говорили на диване за круглым столом, – она с голоду допивала холодный чай, оставшийся с вечера, и доедала булку, – и все целовали друг другу руки.

Она осталась в гостинице, я съездил в деревню, и на другой день мы уехали с ней на

Минеральные Воды.

Осень мы хотели провести в Москве, но и осень и зиму провели в Ялте – она начала гореть и кашлять, в комнатах у нас запахло креозотом... А весной я схоронил ее.

Ялтинское кладбище на высоком холме. И с него далеко видно море, а из города – кресты и памятники. И среди них, верно, и теперь еще белеет мраморный крест на одной из самых дорогих мне могил. И я уже больше никогда не увижу его – бог милосердно избавил меня от этого.

1944

Примечания

1

Почтовая открытка с видом (*франц.*).

[^^^]

2

Почтовая открытка (*франц.*).

[^^^]

3

«Я хочу обладать сокровищем, которое вмещает в себе все, я хочу молодости!» *(франц.)*

[^^^]

4

«Дай мне, дай мне наглядеться на твое лицо!»
(франц.)

[^^^]

5

И все же навсегда... (франц.)

[^^^]